

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА

подъ редакціей В. Θ. САВОДНИКА.

Выпускъ 12-й.

РАННЯЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ

Г Р А Ф А

Л. Н. ТОЛСТОГО.

СКЛАДЪ ИЗДАНИЯ
въ книжныхъ магазинахъ Бр. Башмаковыхъ,
Москва — Петроградъ — Казань.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА

подъ редакціей В. Ѳ. Саводника.

Выпускъ 12-й.

РАННІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ
ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО.



Статья Апол. Григорьева о гр. Л. Н. Толстомъ была написана имъ во время его пребыванія въ Оренбургѣ и касается раннихъ произведеній Толстого, серія которыхъ завершается его «Семейнымъ счастьемъ». Какъ это видно изъ писемъ Григорьева къ его другу Н. Н. Страхову, онъ самъ былъ очень доволенъ ею и придавалъ ей большое значеніе: Григорьевъ озаглавилъ свою статью: «Явленія современной литературы, пропущенныя нашей критикой» и особенно настаивалъ на томъ, чтобы она была напечатана именно подъ этимъ заглавіемъ, которое уже въ то время, по признанію самого автора, могло показаться парадоксальнымъ. Этимъ заглавіемъ Григорьевъ хотѣлъ подчеркнуть тотъ фактъ, что, по его мнѣнію, современная критика отнеслась недостаточно внимательно къ творчеству Толстого, не сумѣла выяснитъ его исключительное значеніе, и такимъ образомъ оказалась не на высотѣ своей задачи.

Поэтому въ первой части своей работы Григорьевъ старается выяснитъ вообще отношеніе современной критики и ея различныхъ теченій къ литературѣ и поднимаемымъ ею вопросамъ. Эта часть статьи интересна въ томъ отношеніи, что, характеризуя различныя направленія русской критической мысли, Григорьевъ вмѣстѣ съ тѣмъ очень выпукло очерчиваетъ свой собственный взглядъ на значеніе литературы и на задачи литературной критики. Начинаетъ свой обзоръ Григорьевъ съ представителей «искусства для искусства», рѣшительно высказываясь противъ ихъ «литературной гастрономіи», затѣмъ переходитъ къ славянофиламъ, отмѣчая ихъ односторонность и пристрастіе къ своимъ теоретическимъ построеніямъ—вслѣдствіе чего Григорьевъ нѣсколько неожиданно, но совершенно правильно сближаетъ ихъ въ этомъ отношеніи съ радикалами-«теоретиками», несмотря на коренное различіе ихъ основныхъ взглядовъ, симпатій и стремленій. Въ заключеніе Григорьевъ обращается къ разсмотрѣнію органовъ «западнческаго» лагеря, наиболѣе подробно

останавливаясь на «Русскомъ Вѣстникѣ» Каткова, находившагося въ это время еще въ періодѣ своего англоманства.

Особое вниманіе, удѣленное этому журналу, объясняется по всей вѣроятности тѣмъ, что самъ Григорьевъ нѣкоторое время былъ близокъ къ нему, такъ какъ въ 1860 году Катковъ вызвалъ его въ Москву для участія въ редактированіи беллетристическаго отдѣла; впрочемъ, взаимныя отношенія ихъ скоро испортились, и Григорьевъ покинулъ редакцію, ничѣмъ не ознаменовавъ свое участіе въ журналѣ. Этимъ, быть можетъ, объясняется и нѣсколько враждебное отношеніе къ Каткову, просвѣчивающее въ отзывахъ Григорьева, его упреки въ равнодушіи и даже презрѣніи къ русской литературѣ, упреки, едва ли заслуженные Катковымъ, въ журналѣ котораго впервые были напечатаны такія произведенія, какъ «Отцы и Дѣти», «Преступленіе и Наказаніе», «Война и Миръ». Вторая половина статьи Григорьева посвящена характеристикѣ литературной дѣятельности Толстого, при чемъ онъ останавливаетъ свое вниманіе преимущественно на тѣхъ сторонахъ творческой индивидуальности автора «Дѣтства и Отрочества» и «Семейнаго счастья», которыя обличаютъ въ Толстомъ глубоко-національнаго писателя. Къ числу такихъ народно-«типовыхъ» чертъ, ярко выступающихъ въ творествѣ Толстого, Григорьевъ относитъ прежде всего его способность къ безстрашному, ни передъ чѣмъ не останавливающемуся анализу, направленному преимущественно на все ложное, искусственное и «приподнятое» въ душевной жизни человѣка. Эта черта тѣсно связана у Толстого съ его инстинктивнымъ недовѣріемъ къ блестящимъ, но «хищнымъ» типамъ, и съ его глубокимъ сочувствіемъ къ простой и тихой жизни, къ простымъ и «смирнымъ» людямъ, съ тѣмъ сочувствіемъ, которое еще ранѣе проявилось въ яркой формѣ у Пушкина въ «Капитанской дочкѣ», въ «Повѣстяхъ Бѣлкина» и въ другихъ произведеніяхъ. Всѣ эти замѣчанія Григорьева о Толстомъ и его творествѣ въ настоящее время могутъ показаться общепринятымъ truизмомъ, но въ то время, когда они были имъ впервые высказаны, они были новы и оригинальны. Къ сожалѣнію, Григорьевъ не остановился болѣе подробно на разборѣ отдѣльныхъ произведеній Толстого, ограничившись лишь ихъ общей характеристикой.

Гр. Л. Толстой и его сочиненія.

Явленія современной литературы, пропущенныя нашей критикой ¹⁾.

1) Военные рассказы. 2) Дѣтство и Отрочество. 3) Юность, первая половина. 4) Записки маркера. 5) Метель. 6) Два гусара. 7) Встрѣча въ отрядѣ. 8) Люцернъ. 9) Альбертъ. 10) Три смерти. 11) Семейное счастье.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

I.

ОБЩІЙ ВЗГЛЯДЪ НА ОТНОШЕНІЯ СОВРЕМЕННОЙ КРИТИКИ КЪ ЛИТЕРАТУРѢ.

Vox clamantis in deserto.

Напередъ увѣренъ, что и читатели „Времени“, и, пожалуй, сама редакція журнала обвинять автора этой статьи въ самой отчаянной парадоксальности или, по крайней мѣрѣ, въ явно-неблагодѣтельномъ желаніи уколоть почувствительнѣе нашу критику такимъ вопіющимъ фактомъ, что, будто бы, графъ Л. Толстой и его сочиненія принадлежать къ разряду „явленій современной литературы, пропущенныхъ нашею критикой“.

А между тѣмъ ни парадоксальности въ мысли, ни злонамѣренности противъ критики нашей тутъ нѣтъ нисколько, а есть только настоящее дѣло.

Критика — скажутъ мнѣ — однако же сразу замѣтила появленіе въ литературѣ автора „Военныхъ рассказовъ“, „Дѣтства и Отрочества“ и проч.? Да еще бы ужъ она и появленія-то такого по-

1) „Время“, 1862 г., №№ 7 и 9.

ваго, оригинальнаго, сразу явившагося съ „словомъ и властію“ таланта не замѣтила!.. Она, пожалуй, даже „привѣтствовала“ новый талантъ, какъ дѣйствительно новый, свѣжій и сильный, пожалуй, „заявила“ свое сочувствіе къ нему, и проч....

Да вѣдь „привѣтствовать“ и „заявлять сочувствіе“—дѣло весьма легкое, штука, такъ сказать, казеннѣйшая изъ казенныхъ. Задача критики, если только она точно критика, не въ томъ только, чтобы „привѣтствовать“ и „заявлять сочувствіе“, хоть у насъ и это иногда—подвигъ похвальный, часто смѣлый, на который рѣдко кто рѣшится первый, по крайней мѣрѣ печатно: вѣдь это не то, что брань, къ которой мы замѣчательно привыкли, потому что она „на вороту не виснетъ“. Чтобы заявить гласно сочувствіе къ явленію новому, къ которому сочувствія никѣмъ еще не заявлено, надобно имѣть много вѣры въ душѣ,—вѣры въ правду явленія и вѣры въ самого себя. Иное дѣло въ кружкахъ. Тутъ производство въ таланты и даже, съ позволенія сказать, въ гениі—подвигъ, для насъ несколько не трудный. Отъ всего, что бы въ извѣстномъ кружкѣ, большомъ или маломъ, но все-таки кружкѣ, ни сказалось или, правильнѣе, ни сболтнулось, всегда очень возможно отступить, если талантъ дѣйствительно обманетъ надежды, или если кружку почему-либо покажется, что онъ обманулъ его, кружковая, надежды...

По задаче критики, повторяю, не въ томъ только, чтобы привѣтствовать и заявлять сочувствіе. Дѣло критики—уловить и отмѣтить особенность, личность таланта, если особенность, личность проглядываютъ въ немъ. Либо вовсе не должно быть литературной критики, либо въ этомъ именно, т.-е. въ разъясненіи существа таланта, заключается ея прямая, настоящая и едва ли не единственная обязанность.

Задача критики бываетъ часто очень нелѣгкая, въ особенности по отношенію къ талантамъ, хотя и дѣйствительно оригинальнымъ, но отличающимся преимущественно своими внутренними силами, своей, такъ сказать, виртуозностью, а не широтою, яркостью или общественнымъ значеніемъ концепцій.

О двухъ только родахъ литературныхъ явленій писать очень легко, а именно:

1) очень легко писать „срунду“ (позвольте употребить это любимое, хотя нѣсколько халатное слово нашей современной критики) о вещахъ гениальныхъ, и

2) столь же легко умному человѣку писать очень умныя вещи о литературной „ерундѣ“. Сей послѣдней, т.-е. литературной „ерундѣ“, я придаю объемъ довольно значительный и обширный. Въ область ея „съ теченіемъ временъ“ могутъ попасть не только такія вещи, какъ „Подводный камень“ г. Авдѣева, но, пожалуй, даже и трети двѣ походовъ или, лучше сказать, „пожеланій“ Обломова. *Conditio sine qua non*, разумѣется, въ томъ, чтобы ерунда или принадлежала человѣку все-таки даровитому и умѣющему ловко и наглядно ставить передъ глазами живущіе въ воздухѣ общественныя и нравственныя вопросы, или, со всей дерзостью посредственности, скакала за самыя крайнія грани общественныхъ и нравственныхъ вопросовъ.

Чувствуете ли вы, что, наиримѣрь, о „Полинькѣ Саксѣ“, о „Подводномъ камнѣ“ ¹⁾ можно размахнуться гораздо задорнѣе, чѣмъ о „Семейномъ счастьѣ“ Л. Толстого? Даже не только задорнѣе, а дѣйствительно горячѣе, если вы, какъ мыслитель честный, станете бороться съ животненностью парадокса, на которомъ основанъ „Подводный камень“, или съ холодною ходульностью главной идеи „Полиньки Саксѣ“. Или вѣдь, наиримѣрь, ни объ одной изъ простыхъ, живыхъ, вполне конкретныхъ жепскихъ натуръ, созданныхъ Островскимъ, не напишете вы такого дионрамба, какимъ разразился нѣкогда г. Пальховскій по поводу изломанной Ольги г. Гончарова въ „Московскомъ Вѣстникѣ“. Вѣдь о тихой и простой драмѣ „Семейнаго счастья“ или о женщинахъ Островскаго нужно говорить только то, что до самаго предмета касается, а, напротивъ, о барышнѣ Ильинской или о герояхъ и о героинѣ „Подводнаго камня“, что касается до нихъ самихъ, ровно говорить нечего: зато и о развитости женской природы, и о свободѣ ноловыхъ отношеній (*за* и *противъ* — это какъ угодно, — *e sempre bene*) наговориться можно вдоволь, врасосѣ, такъ сказать, „*съ заскокомъ*“...

Да-съ, мудреная вещь для критики живыя, органическія, художественныя произведенія!

Хорошо, скажу еще разъ, если рама ихъ широка, какъ рама историческихъ картинъ, если въ нихъ кишитъ и волнуется цѣлый

¹⁾ „Полинька Саксѣ“—романъ Дружинина (1847 г.), посвященный, какъ и „Подводный камень“ Авдѣева (1860 г.) такъ назыв. женскому вопросу и на дѣлавшій въ свое время много шуму въ литературномъ мірѣ.

новый міръ, бросааясь въ глаза каждому своими, хотя порою и „жестокими“, но всегда типическими нравами, открывая повсюду самыя широкія перспективы. Тогда ничего, если вы даже и ошибетесь въ разгадкѣ намѣреній художника, въ пониманіи значенія этихъ перспективъ; ничего, если вы увлечетесь одной какой-либо рѣзкой стороною явленій раскрывающагося въ произведеніяхъ міра: вы, если вы человѣкъ истинно серьезный и серьезно даровитый, по поводу ихъ все-таки напишете блестящія статьи о „Темномъ царствѣ“. Что за дѣло, что вы увлеклись, что вы въ своемъ отрицаніи не видали и даже не хотѣли видѣть свѣтлыхъ сторонъ этого темнаго царства? Нужды нѣтъ. Вы, даровитый и честный теоретикъ, все-таки сдѣлали свое дѣло. То, что въ „Темномъ царствѣ“ есть дѣйствительно *темнаго*, вы изслѣдили съ полною, честною и смѣлою послѣдовательностью. Въ своемъ голомъ отрицательномъ отношеніи къ жизни вообще и къ особенному міру художника вы не виноваты или виноваты только какъ вообще всѣ теоретики виноваты противъ жизни.

Но что вы сдѣлаете съ вашимъ теоретическимъ отрицаніемъ въ отношеніи къ другимъ, болѣе или менѣе замкнутымъ художественнымъ мірамъ, — мірамъ, не растворяющимъ передъ вами широко настежь свои двери, требующимъ со стороны человѣка извѣстнаго углубленія, извѣстнаго посвященія въ нихъ?

А вѣдь такихъ замкнутыхъ художественныхъ міровъ и было и есть, да, по всей вѣроятности, и будетъ немало, и, стало быть, они суть необходимые, органическіе продукты души человѣческой...

Я знаю, вы будете жестоко-послѣдовательны. Вы бывали уже не разъ жестоко-послѣдовательны! Вы разобьете эти міры діалектическимъ молотомъ: что, дескать, ихъ жалѣть?.. И—увы!—намъ, не-теоретикамъ, не обладающимъ вашею храбростью отношеній къ жизни и къ душѣ человѣческой, останется только повторять съ уныніемъ пѣснь духовъ изъ Фауста:

Weh, Weh!
Du hast sie zerstört,
Die schöne Welt,
Mit mächtiger Faust ¹⁾!

1) Увы, увy!

Ты его разбилъ,
Прекрасный міръ,
Могучимъ кулакомъ!

пожалуй, даже съ напраснымъ призывомъ:

Baue sie wieder,
In deinem Busen baue sie auf! ¹⁾

Но пусть и напрасенъ въ отношеніи къ вамъ призывъ,—уныніе наше будетъ не за эти міры, а за васъ. Теоріи ваши, сдѣлавши свое дѣло,—дѣло вполне полезное и честное,—пройдутъ, а міры, къ которымъ были опѣ прилагаемы съ безошадною послѣдовательностью, останутся. Останутся и поэзія вообще, и Пушкинъ въ особенности, да не только Пушкинъ, но даже и меньшіе въ этомъ царствѣ, такіе меньшіе, которые вамъ совсѣмъ уже ненужны, которые создавали совершенно замкнутые міры, если только міры ихъ окажутся дѣйствительно-поэтическими мірами...

Поэтическими, т.-е. необходимыми, и, можетъ быть, даже болѣе необходимыми, чѣмъ паровыя машины, пароходы и желѣзныя дороги!

Но произведенія Л. Толстого не принадлежатъ даже къ такого рода совершенно замкнутымъ, „ненужнымъ“ для нашей современной критики мірамъ. Если бы это было такъ, равнодушіе къ нимъ не требовало бы большихъ разъясненій... Но вѣдь Толстой — не лирикъ, какъ Тютчевъ, Огаревъ, Фетъ, Полонскій, хотя въ немъ и много лиризма. Это даже не повѣствователь исключительныхъ драмъ, совершающихся въ исключительныхъ обстановкахъ, не историкъ исключительныхъ, тонко-развитыхъ и притомъ такъ-сказать тронутыхъ, надломленныхъ организацій, какъ Тургеневъ. Понятно охлажденіе теоретиковъ къ Тургеневу, и оно должно быть объясняемо ихъ послѣдовательностью. Но Толстой менѣе всего походитъ на Тургенева, стало быть, и причинъ равнодушія къ нему надобно искать въ другихъ источникахъ, нежели тѣ, изъ которыхъ пристекло охлажденіе теоретиковъ къ Тургеневу.

Толстой прежде всего кинулся всѣмъ въ глаза своимъ безошаднѣйшимъ анализомъ душевныхъ движеній, своею неумолимой враждою къ всякой фальши, какъ бы она тонко развита ни была и въ чемъ бы она ни встрѣтилась. Онъ сразу выдался какъ писатель необыкновенно оригинальный смѣлостью психологическаго приема. Онъ первый посмѣлъ говорить вслухъ, печатно о такихъ душевныхъ дрязгахъ, о которыхъ до него всѣ молчали, и при-

¹⁾ Построй его вновь,
Въ своей груди возсоздай его!

томъ съ такою наивною, которою только высокая любовь къ нравдѣ жизни и къ нравственной чистотѣ внутренняго міра отличается отъ наглости. Этотъ приемъ изобличалъ въ художникѣ и возвышенную искренность натуры, и бесспорно-геніальное чутье жизни. Едва ли что подобное искренности этого приема найдется въ какомъ другомъ писателѣ, даже изъ писателей чужеземныхъ.

Приемъ этотъ всѣ болѣе или менѣе замѣтили, да и не замѣтить его было невозможно. Но никто, сколько мнѣ помнится, не потрудился взглянуть пристальнѣе въ источники этого приема и подумать посерьезнѣе о его послѣдствіяхъ. Никто ни задалъ себѣ вопросовъ: подлинно ли искренность эта есть непосредственная, наивная, или въ ней есть тоже своего рода надломленность и тронутость? и чѣмъ эта безошадная искренность отличается, на примѣръ, отъ искренности, столь же несомнѣнной, столь же и даже до цинизма смѣлой реалиста Писемскаго, или отъ искренности Островскаго, которая такъ проста и такъ въ себѣ самой увѣрена, что никогда и не заботится даже показывать публикѣ, что вотъ, дескать, кака я искренность: любуйтесь или ужасайтесь ¹⁾).

Между тѣмъ Толстой, разрабатывая свои психологическія задачи, постепенно дошелъ до такихъ нравственныхъ результатовъ, которые не только не имѣютъ ничего общаго съ требованіями и воззрѣніями теоретиковъ, но даже прямо имъ противорѣчатъ, до того противорѣчатъ, что остается совершенно необъяснимымъ помѣщеніе его „Люцерна“ и „Альберта“ въ „Современникъ“: такъ рѣзко эти произведенія расходятся въ духъ и направленіи съ журналомъ теоретиковъ. Молчаніе о Толстомъ и о его лучшемъ произведеніи:—„Семейномъ счастьи“—за направленіе, которое ясно обнаружилось въ его дѣятельности, — дѣло совершенно понятное. Непонятно только то, какимъ образомъ съ самаго начала теоретики не видали, куда поведетъ молодого писателя искренность его анализа? И „Люцернъ“, и „Альбертъ“, и „Семейное счастье“— не крутой поворотъ какой-нибудь съ прежней дороги, а прямое продолженіе ея, прямой результатъ того психическаго анализа, который поразилъ всѣхъ въ „Военныхъ разсказахъ“, въ „Дѣт-

¹⁾ Укажу хоть, на примѣръ, на *чудовищныя* мечтанія Бальзамина въ послѣдней части удивительной трилогіи о немъ, а изъ первыхъ вещей Островскаго — на монологъ Милашина въ V актѣ „Бѣдной певѣсты“.

ствѣ и Отрочествѣ“ и нѣсколько утомилъ даже читателей, какъ и самого автора, въ „Юности“.

Дѣло въ томъ, что разъясненіе значенія анализа, отличающаго произведенія Толстого, сравненіе его рода искренности съ другими и выводъ этой искренности изъ историческихъ данныхъ общаго нашего развитія могли бы, можетъ быть, уяснить для насъ въ нашемъ сознаніи гораздо больше фактовъ, чѣмъ безконечное распластаніе „обломовщины“, чѣмъ даже всевозможныя обличенія всероссійскихъ иллюзій въ ихъ печальной несостоятельности.

Ну прекрасно, мы—обломовцы, и достаточно уже казнили насъ за то, что мы обломовцы: мы несостоятельны во всемъ томъ, что велколѣпно называли убѣжденіями и даже достаточно опозорены за это въ лицѣ такихъ нашихъ представителей, которыхъ не легко было видѣть намъ позоримыми... Не говорю ни слова противъ этого критическаго приѣма нашихъ теоретиковъ. Онъ имѣетъ свое важное, даже великое значеніе, и притомъ (чего сами теоретики, можетъ быть, не подозрѣваютъ) онъ, этотъ приѣмъ, вытекаетъ прямо изъ нашей народной сущности, изъ свойствъ самой природы русскаго человѣка. Въ этомъ-то и заключается главнымъ образомъ его сила. Русскій человѣкъ—такъ ужъ его Богъ создалъ— не боится прилагать ножъ анализа и бичъ комизма къ какому бы то ни было *видимымъ* явленіямъ. Мы вонъ даже къ смерти, напменѣе комическому изъ всѣхъ видимыхъ явленій жизни, можемъ относиться съ такою прямоюю взгляда, съ какою относился къ пей Толстой въ одномъ изъ своихъ „Военныхъ разсказовъ“ и въ очеркъ „Три смерти“; въ ней самой даже можемъ равнодушно подмѣчать комическія стороны, какъ подмѣчаетъ ихъ г. Горбуновъ въ двухъ изъ своихъ разсказовъ (*Смерть старухи* и *Визиты къ вдовѣ*). Комическое или, по крайней мѣрѣ, отрицательное отношеніе ко всему составляетъ, можетъ быть, высшее свойство нашего ума. Такъ что жъ тутъ, конечно, щадить намъ нашу несостоятельность, въ чемъ бы и въ комъ бы она ни проявилась!..

Но кромѣ того, что взглядъ теоретиковъ силенъ, онъ въ то же время и честенъ. Его даже и на минуту не поставишь на одну доску съ другими взглядами, выражающимися въ настоящее время въ нашей критикѣ. Онъ смѣло и прямо смотритъ въ глаза той правдѣ, которая ему является, неуклонно и безпощадно выводитъ изъ нея всѣ послѣдствія. Онъ не беретъ на прокатъ чужихъ, хотя бы и англійскихъ, воззрѣній; онъ неспособенъ тоже

улаждаться и празднымъ эстетическимъ дилетантизмомъ. Онъ хочетъ *дѣла*, прямо имѣеть въ виду *дѣло*, и все то, что не *дѣло* или что кажется ему *не-дѣломъ*—отрицаетъ безъ малѣйшаго колебанія. Пусть его пониманіе *дѣла* односторонне, его захватъ узокъ. Это ничего. Чѣмъ уже захватъ мысленнаго горизонта, тѣмъ онъ доступнѣе взгляду массъ. Давно извѣстно qu'il n'y a que des pensées étroites qui régissent le monde. Широкая мысль, если она не въ обладаніи генія, расплывается часто въ воздушномъ пространствѣ. Узкая мысль видитъ передъ собою ближайшую цѣль и показываетъ ее другимъ: она бьетъ навѣрняка. Пусть у жизни есть свои тайны, пусть только на пути къ алхиміи обрѣло чело-вѣчество химію съ ея благодѣтельными практическими приложе-ніями,—въ пастоящую минуту взгляды теоретиковъ торжествуютъ и *долженъ* торжествовать. Въ торжествѣ его участвуетъ одна изъ сторонъ народнаго духа, торжествуетъ, стало быть, все-таки непосредственная жизненная сила... Ей нуженъ былъ исходъ, и онъ нашелся.

Да извиняютъ меня читатели за это отступленіе въ пользу теоретическаго направленія. Оно вовсе не лишнее. Тотъ странный фактъ, что сочиненія графа Л. Толстого должны быть по всей строгой справедливости отнесены къ разряду явленій, незамѣчен-ныхъ нашею критикою, равно какъ и самое образованіе разряда такихъ явленій, можетъ быть объяснено только направленіемъ нашей критики.

Дѣло самое ясное, что для современной критики нашей литература перестала быть не только главнымъ и полнымъ, но вообще сколько-нибудь знаменательнымъ выраженіемъ жизни. Перестала ли она быть таковымъ для самой жизни,—это еще вопросъ; но что для критики, т.-е. для сознанія нѣсколькихъ, для сознанія избранныхъ, пожалуй, передовыхъ людей, перестала,—это не-сомнѣнно. Въ самомъ дѣлѣ, для котораго изъ имѣющихъ силу критическихъ направленій нашихъ она составляетъ то, что составляла нѣкогда для Полевого, Падеждина, Бѣлпнскаго?.. Рѣшительно ни для одного. Вѣрующихъ въ литературу осталось мало, т.-е. вѣрующихъ въ нее, какъ въ органическую силу, какъ въ живой голосъ жизни.

У литературы есть, пожалуй, защитники, призванные, авторитет-ные, такъ сказать, оффиціальныя. Это — поборники чисто-эстетиче-скаго взгляда, поклонники *искусства для искусства*. Но не ихъ

разумѣю я, говоря о маломъ числѣ вѣрующихъ въ литературу. Литературные гастрономы (иного названія они не заслуживаютъ), эти господа всего мепѣ способны видѣть въ литературѣ живую силу жизни. Какъ таковая, она бы ихъ и пугала и тревожила. Да направленіе чистыхъ эстетиковъ и не есть собственно направленіе. Основное начало ихъ („искусство для искусства“) не имѣетъ за себя ни психологическихъ, ни историческихъ данныхъ: оно порождено празднымъ дилетантизмомъ. Ни на одного великаго художника нельзя указать, который бы видѣлъ въ своемъ высокомъ дѣлѣ одно искусство для искусства; никакихъ пружинъ въ сложномъ механизмѣ души человѣческой не отыщешь для узаконенія шахматной игры въ поэзіи. Поэтому о чисто-эстетическомъ направленіи критики и о его отношеніи къ литературѣ говорить рѣшительно не стоитъ. Надобно оставить мертвымъ хоронить своихъ мертвецовъ. Что такое литература для эстетическаго направленія, — это вопросъ совершенно неинтересный. Сегодня для него литература — Шекспиерь, Пушкинъ и т. д., а завтра, можетъ быть, по гастрономической прихоти, романы Анны Радклейфъ или „Постояльцй дворъ“ г. Степанова ¹⁾.

Но что составляетъ литература для имѣющихъ силу и жизненность направленій, — это дѣло очень важное.

1) Для славянофильства, поскольку выразилось оно до сихъ поръ во всѣхъ своихъ изданіяхъ (а выразилось оно уже достаточно), литература была и будетъ всегда явленіемъ подчиненнымъ, а не самосущимъ. Наша литература — Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Островскій. Славянофильство съ большими ограниченіями и какъ-то *списходительно* принимаетъ Пушкина; видитъ заблудшую комету въ Лермонтовѣ; весьма плохо понимаетъ Островскаго, а въ Гоголѣ, ставя его выше всѣхъ другихъ нашихъ писателей, видитъ вовсе не то, что видятъ другіе. Въ одной изъ искреннѣйшихъ статей своихъ славянофильство чуть-чуть не положило всю русскую литературу къ подножію „Семейной хроники“ ²⁾. Дайте славянофильству полную волю, — оно рѣшительно оста-

¹⁾ Говоря объ эстетическомъ направленіи литературной критики, Григорьевъ имѣетъ въ виду преимущественно Дружинина, который, дѣйствительно, писалъ и о романахъ Радклейфъ и о „Постояломъ дворѣ“ Степанова.

²⁾ Имѣется въ виду статья Гилярова-Платонова въ „Русской Бесѣдѣ“ (1856 г., № 1).
Примѣч. В. С.

вить насъ при одной до-Петровской письменности да при Гоголѣ и „Семейной хроникѣ“ изъ всей новой литературы. Нѣтъ спора, что „Семейная хроника“ есть произведеніе истинно замѣчательное, даже высокое; нѣтъ тоже спора и въ томъ, что Гоголь былъ громадный талантъ; но дѣло-то въ томъ, что „Семейная хроника“ принадлежитъ къ разряду тѣхъ исключительныхъ произведеній, которыя, сами по себѣ взятая, представляютъ явленія выше обычнаго, даже талантливаго уровня и которыхъ авторовъ вы однако усомнитесь, и притомъ совершенно справедливо усомнитесь, назвать великими писателями; что же касается до Гоголя, то этотъ великій писатель представляетъ въ настоящую минуту вопросъ чрезвычайно спорный, не по отношенію къ силѣ его таланта, а по отношенію къ значенію его произведеній. Велико-руссы начали видѣть въ немъ малоросса, понимавшаго въ нашемъ, великорусскомъ быту только отрицательныя стороны, а малороссы откидываютъ его къ великороссамъ¹⁾. Съ другой стороны, своимъ несочувствіемъ къ Пушкину славянофильство похѣриваетъ въ нашемъ развитіи цѣлую полосу, которой онъ былъ блистательнымъ результатомъ, а малымъ пониманіемъ Островскаго отрицаетъ всю ту народную жизнь, которая органически сложилась изъ коренныхъ старыхъ и привзошедшихъ новыхъ стихій. Явное дѣло, что славянофильству, относящемуся такимъ образомъ къ самымъ крупнымъ литературнымъ фактамъ, дорогъ въ литературѣ только его собственный идеальчикъ. „Служи!“—говоритъ оно литературѣ (да и самой народной жизни, въ которой одно принимаетъ, а другое произвольно отвергаетъ)—и награждаетъ литературу по степени болѣе или менѣе усерднаго служенія. Обличительную литературу, напримѣръ, оно приняло подъ свое покровительство, какъ разъясненіе и кару официально-общественной гнили, но литературу отрицательную оно ненавидѣло. Тургенева оно похвалило нѣкогда за „Хоря и Калиныча“, въ то же самое время какъ назвало гнилымъ одно изъ блистательнѣйшихъ

¹⁾ Какъ разъ въ это время (1861—62 г.) разыгралась любопытная полемика между Кулишемъ и Максимовичемъ по вопросу о малорусскихъ пачалахъ въ творествѣ Гоголя. Самъ Григорьевъ видѣлъ въ Гоголѣ типичнаго малоросса и даже упрекалъ его въ недостаточномъ знаніи великорусской жизни и въ непониманіи великорусскаго душевнаго склада (напр., въ статьѣ: „И. С. Тургеневъ и его дѣятельность“, „Русское Слово“ 1859 г., № 5-й; см. вып. 10-й, стр. 40).

его произведеній въ отрицательной манерѣ („Три портрета“) ¹⁾. На Иисемскаго славянофильство, долго о немъ молчавшее и какъ будто не хотѣвшее признавать его существованія, возстало съ яростью за его Ананія въ „Горькой судьбинѣ“, т.-е. именно за то, что въ „Горькой судьбинѣ“, драмѣ весьма плохой въ художественномъ отношеніи, и ново, и живо, и смѣло, и сильно. Въ настоящую минуту единственное литературное явленіе, *безусловно* принимаемое славянофильствомъ, есть г-жа Кохановская. Все прочее въ литературѣ и, стало быть, въ жизни—потому что какихъ же нибудь сторонъ жизни да служить выраженіемъ литература,— все прочее, безъ исключенія даже Островскаго, или вовсе не подходитъ, или подходитъ только съ извѣстными ограниченіями подъ мѣрку теоріи. Ибо въ сущности славянофильство, несмотря на всю свою религіозную любовь къ народу, есть все-таки теорія и свои теоретическія наклонности выражало не разъ даже и по отношенію къ быту народа, къ явленіямъ, которыя, какъ, напри- мѣръ, пѣсня, непосредственно изъ этого быта возникли, или, какъ драмы Островскаго, сознательно и полно его выражаютъ.

2) И—странное дѣло!—несмотря на всю разницу формъ выраженія, внѣшнихъ симпатій и тона, направленіе *теоретическое* и направленіе *славянофильское* удивительно сходны между собою въ томъ, что оба кладутъ жизнь на Прокрустово ложе; сходны въ смѣлой послѣдовательности взглядовъ; сходны въ равно несомнѣнномъ благородствѣ образа мыслей и чувствованій, въ суровой гражданской строгости, въ трезвенномъ пониманіи общественныхъ обязанностей, сходны, наконецъ, въ томъ, что только они два имѣютъ и могутъ имѣть дѣйствительную силу. Разница между славянофилами и теоретиками, т.-е., положимъ, между покойнымъ Хомяковымъ и г. Чернышевскимъ, между г. И. Аксаковымъ и Добролюбовымъ, только въ томъ, что гг. Чернышевскій и Добролюбовъ, хотя точка отправления ихъ есть собственно западная, по натурѣ своей гораздо больше русскіе люди, чѣмъ всѣ славянофилы. Они способнѣе къ тому, чтобы сжигать за собою корабли, они смѣлѣе и безнощаднѣе въ приложеніи уровня *общиннаго* начала къ многообразнымъ фактамъ жизни. Храмъ этому общинному началу славянофилы строятъ въ старомъ византійскомъ стилѣ, а

¹⁾ К. С. Аксаковъ въ своей статьѣ: „Обозрѣніе русской литературы“ въ „Русской Бесѣдѣ“ 1858 г., № 1.

они въ простѣйшемъ казарменномъ. Славянофильство въ будущемъ можетъ быть и сильнѣе ихъ, потому что имѣеть готовыя формы для своего идеала; а формы вообще, да притомъ готовыя, завѣщанныя вѣковыми иреданіями,—дѣло не малой важности. По въ настоящую минуту теоретики—гораздо болѣе ихъ господа положенія. Передъ ними теперь все, кромѣ славянофильства и „Русскаго Вѣстника“, смолкаетъ и склоняется, даже въ послѣднее время „Библиотека для Чтенія“, этотъ послѣдній лагерь шахматной игры въ искусствѣ: противъ нихъ все оказывается безсильно, даже бывалая ѣдкость г. Павлова ¹⁾). Потому—смѣлы и прямы. А главнымъ образомъ, теоретическій взглядъ, силой своего отрицанія, вполне русскій. Не вся сущность русскаго, т.-е. русской жизни, захвачена взглядомъ теоретиковъ, но зато уже одна сторона, отрицательная, вполне имъ исчерпывается. Дальше идти некуда въ отрицаніи, и взглядъ теоретиковъ нѣкоторое время еще будетъ передовымъ взглядомъ. Прибавить надобно еще, что, кромѣ своей смѣлости и народности, онъ, по опредѣленности своихъ цѣлей, простъ и ясенъ до того, что кладетъ все въ ротъ жеваную и пережеванную пищу, не требуетъ никакихъ усилій мышленія, даже *отучаетъ* мыслить, даже постоянно смѣется надъ всякими усиліями мышленія, а массѣ, разумѣется, это и на руку. И понятно, да и впередъ толкаетъ. Наконецъ, вотъ еще что: теоретическій взглядъ глубоко презираетъ и жизнь съ ея органическими законами, съ ея исторіею, да и литературу, какъ органическое выраженіе органической жизни; но въ то же самое время въ немъ слишкомъ много практической смѣтки, чтобы онъ дозволилъ себѣ слишкомъ рѣзко расходиться съ жизнью и съ ея выраженіемъ, литературою,—и онъ съ необыкновенною ловкостью подлаживается, подстроиваетъ подъ свой тонъ все знаменательныя

¹⁾ Дружининъ въ редактируемой имъ „Библиотекѣ для Чтенія“ отстаивалъ точку зрѣнія „искусства для искусства“, рѣшительно антипатичную Григорьеву, который и обозвалъ ее поэтому „шахматной игрой въ искусствѣ“, такъ какъ видѣлъ въ пей что-то унижающее серьезное и высокой значеніе искусства, сводящее его на степень праздної забавы ума и воображенія.—Н. Ф. Павловъ въ началѣ 60-хъ годовъ издавалъ въ Москвѣ газету „Нашо Время“, въ которой нерѣдко выступалъ съ ѣдкими нападками на современныхъ писателей радикальнаго лагеря (напр., въ надѣлавшей много шума статьѣ: „Гнѣ Чернышевскій и его время“, вызвавшей рѣзкую и оживленную полемику, въ которой приняли участіе „Искра“, „Свѣстокъ“ и др. изданія).

ихъ явленія. Славянофильство просто отмечаетъ и въ литературѣ, и даже въ быту народномъ всѣ явленія, несогласныя съ его идеаломъ, называя ихъ въ литературѣ гнилью, а въ быту народномъ порчею, уродливостью и т. д. Теоретики поступаютъ практичнѣе: они видятъ и заставляютъ другихъ видѣть только то, что имъ надобно въ знаменательныхъ явленіяхъ жизни и литературы.

Замѣчательнѣйшій примѣръ подлаживанія и подстроиванія, въ тонѣ теоріи, литературныхъ фактовъ представляетъ отношеніе теоретиковъ къ Островскому. Долго, какъ извѣстно, журналъ, въ которомъ теперь съ полною и послѣдовательною выражается взглядъ теоретиковъ, находился „безъ кормила и весла“. Западничество, котораго онъ былъ послѣднимъ порожденіемъ, уже умирало во дни его младенчества и совсѣмъ умерло, когда онъ росъ, ибо смертная хрипота этого направленія въ „Атеней“¹⁾ 1857 года не принадлежитъ къ признакамъ жизни, а „Наше Время“ въ *наше* время представляетъ, очевидно, разложеніе трупa. Но западничество, умирая, отнеслось враждебно къ новому слову литературы. Своимъ вѣрнымъ, хотя и дряхлымъ отрицательнымъ тактомъ оно почуяло, что идетъ сила новая, сила богатырская, сила народная,—и иначе какъ враждебно, оно, по существу своему чисто-отрицательное, не могло отнестись къ этой силѣ. Журналъ долго продолжалъ тянуть старую пѣсню и враждебнѣе всѣхъ другихъ, даже „Отечественныхъ Записокъ“, избѣдившихъ его только постоянствомъ, относился къ новому факту жизни и литературы. Но журналъ самъ по себѣ былъ молодъ и свѣжъ и охотно допускалъ въ составъ свой новые соки. Когда эти соки сдѣлались въ немъ преобладающими, условное положеніе стало для него очень затруднительно. Какъ отъ вражды къ новому, возраставшему въ силѣ своей факту, перейти къ его принятію, пониманію и узаконенію?.. Дѣло между тѣмъ разрѣшилось очень просто. Теоретики увидали въ новомъ литературномъ фактѣ то, что имъ было надобно, бессознательно закрыли глаза на то, что имъ вовсе было ненадобно или, также бессознательно, въ ослѣпленіи своей вѣры (ибо у нихъ съ самаго начала выразилась живая стихія: вѣра) перевернули это имъ ненадобное наизнанку. Островскій явился у теоретиковъ великимъ писателемъ, но только

¹⁾ „Атеней“—учебный и критическій журналъ, издававшійся въ Москвѣ Евгеніемъ Кортемъ въ 1858—59 гг. (у Григорьева годъ обозначенъ очевидно, по памяти). Успѣха въ публикѣ журналъ не имѣлъ.

какъ изобразитель „темнаго царства“. Оборотъ необыкновенно ловкій, но, по всей вѣроятности, не преднамѣренный. Такъ вышло, такъ сдѣлалось...

Взгляни теоретики на Островскаго, какъ на народнаго поэта, т.-е. взгляни просто, а не подъ угломъ теоріи,—журналъ долженъ былъ бы порѣшить все свое западное прошедшее. Теоретики своєю вѣрою, какъ всякая вѣра безсознательною, спасли его отъ такихъ вавилонскихъ жертвъ. Люди новые и свѣжіе, люди притомъ русскіе, они поняли, что за сила Островскій; но какъ теоретики, они поняли въ пемь только то, что подходило подъ ихъ взглядъ, и, надобно отдать имъ справедливость, поняли такъ, что эту отрицательную сторону дѣятельности Островскаго полнѣе и понять невозможно. Статьи о „Темномъ царствѣ“ произвели на массу читателей чрезвычайно сильное впечатлѣніе. Писанныя человѣкомъ истинно-даровитымъ, горячимъ и честнымъ, онѣ имѣли за себя и большую долю правды...

Вѣдь нельзя же сказать въ самомъ дѣлѣ, чтобы „жестокіе“ нравы, представляемые почти повеюду художникомъ, чтобы жизнь, которая сама себя забыла до того, что, по ея разумѣнію, „эта Литва, она къ намъ съ неба упала“,—нельзя же,—говорю я,—сказать, чтобы все это представляло собою „свѣтлое царство“... А этого и было достаточно, чтобы узаконить новый литературный фактъ во имя теоріи. На любовный характеръ семейнаго начала, на явныя симпатіи художника къ русской натурѣ, широкой ли, какъ натуры Любима Торцова и Петра Ильича, христіански ли чистой и великодушной, какъ натуры Бородинна и Мити, глубокой ли и въ запущенности, какъ натура Хорькова, и въ загнанности, какъ натура Кабанова; на величавость патріархальныхъ фигуръ благодушнаго Русакова и суроваго Ильи Иваныча; на типы русскихъ матерей, трогательные даже тогда, когда они, какъ мать Олимпіады Самсоновны, погружены въ тину непроходимой глуности; на симпатію поэта къ его королю Лиру—Большову; наконецъ, на цѣлый рядъ граціозныхъ, симпатическихъ и вмѣстѣ глубокихъ женскихъ натуръ, созданныхъ поэтомъ, на многоразличныя струны русской души, имъ первымъ тронутыя,—на все это теоретики закрыли глаза. Только они, съ ихъ фанатическою вѣрою въ теорію, могли это сдѣлать. Все это имъ было ненадобно. Опять повторяю: такъ ими почувствовалось, и потому такъ вышло, такъ сдѣлалось...

Сдѣлалось же то, что теоретики узаконили новый литературный фактъ, чего не удалось видѣвшимъ въ Островскомъ народнаго поэта, и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлалось то, что теоретики стали во главѣ умственнаго развитія. Главенство ихъ будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока жизнь не разъяснитъ сама себя новыми явленіями и пока съ этими новыми явленіями они не станутъ въ явный разрѣзъ. Покаместъ же, передъ глазами большинства, они положительно правы. Только меньшинство, и притомъ весьма малочисленное, видитъ явленія, ими не замѣчаемыя.

„Какая гордость со стороны меньшинства!“ подумаютъ, можетъ быть, читатели. Да вѣдь, милостивые государи, меньшинство съ своей стороны указываетъ вамъ на факты. Разбейте прежде факты, которые я привелъ вамъ по поводу Островскаго; убедите меня, что Толстой, напримѣръ,—явленіе вполнѣ замѣченное и оцѣненное, или что онъ явленіе справедливо пезамѣченное, что не стоило его замѣчать,—я откажусь, конечно, отъ своей упорной недовѣрчивости къ теоріи. Вѣдь только то мѣрило хорошо, подъ которое подходятъ всѣ знаменательные факты жизни и всѣ вѣчные инстинкты души человѣческой. Для того, чтобы я повѣрилъ въ теорію, я прежде всего попрошу у нея въ полное и законное свое обладаніе не только Пушкина, не только свѣтлыя стороны міра, изображаемаго Островскимъ, не только Толстого, но даже меньшихъ: Тютчева, Огарева, Фета, Полонскаго. Вѣдь душа человѣческая столько же, какъ и теорія, неумолима въ своихъ требованіяхъ, а, пожалуй, еще и неумолимѣе. Теоретики скажутъ, можетъ быть, что это душа ненормальная, развращенная; а я имъ отвѣчу, что вотъ уже семь тысячъ лѣтъ она такъ ненормальна и такъ развращена и что срокъ, когда, по ученію Фурье, луна соединится съ землею и когда произойдетъ совершенный переворотъ въ мозгахъ человѣческихъ, ни мнѣ, ни имъ неизвѣстенъ.

3) Что касается до взгляда чисто-западнаго, то о немъ въ настоящую минуту нельзя говорить какъ о дѣйствительно-существующемъ, живомъ направленіи. Взглядъ этотъ сдѣлалъ свое дѣло, и дѣло великое, хотя исключительно-отрицательное: дѣло разъясненія и очищенія національности литературы. Сила его заключалась не въ немъ самомъ, а въ слабости и фальши противоположныхъ ему положительныхъ воззрѣній, да въ томъ еще, что онъ опирался въ свое время на живую силу, на литературу. Поминкамъ по этому великомъ покойникѣ я посвятилъ уже нѣсколько

статей во „Времени“, къ которымъ и позволяю себѣ отослать читателей ¹⁾).

Дѣло въ томъ, что пока западничество опиралось на живую силу, — оно само было сильно. Какъ же скоро оно разошлось съ жизнью и выраженіемъ ея силъ, какъ скоро оно стало не замѣчать новооткрывавшихся силъ жизни или, не понимая ихъ, задумало враждовать съ ними, — оно пало. Фактъ очень простой и ясный. Паденіе застоя (раннее или позднее, это все равно) ждетъ всякое наиравленіе, какъ скоро оно начнетъ расходиться съ жизнью. Въ какихъ-нибудь десять-пятнадцать лѣтъ такъ много воды утекло, что весьма ученый журналъ „Атеней“ не встрѣтилъ въ массѣ рѣшительно никакого сочувствія, а нѣкоторыми антинаціональными выходками возбудилъ даже негодованіе, что начатое добросовѣстно и энергично „Московское Обзорѣніе“ не прожило даже и года, что „Русская Рѣчь“ даже и по вступленіи въ супружество съ „Московскимъ Вѣстникомъ“ имѣетъ очень ограниченный кругъ читателей, что „Наше Время“ читается только по любви публики къ литературнымъ скандальчикамъ ²⁾). Время переменилось, и никакія усилія, никакіе авторитеты, никакія даже ученья и полемическія дарованія (что гораздо поважнѣе нашихъ самосоздающихся и саморазрушающихся авторитетовъ) не снасуть уже отжившаго взгляда.

Ни одинъ взглядъ, безъ исключенія даже взгляда теоретиковъ, не презираетъ въ настоящую минуту такъ глубоко и жизнь, и литературу, какъ издыхающее западничество. Что такое, напримеръ, литература для г. Павлова, редактора „Нашего Времени“? Его собственныя повѣсти да литературный періодъ, который онъ ирожилъ въ молодости. Ни Островскій, ни Инсемскій, ни даже Тургеневъ для него не существуютъ. Допетровская письменность для

¹⁾ Статья эти вошли въ составъ его обширной работы: „Развитіе идеи народности въ нашей литературѣ со смерти Пушкина“ („Время“, 1861 г., №№ 2—5; см. выпускъ 3-й настоящаго изданія).

²⁾ „Московское Обзорѣніе“ (1859 г.) журналъ, посвященный исключительно литературной и научной критикѣ; подобно однородному „Атенею“, успѣха не имѣлъ и прекратился на второй книжкѣ. „Московскій Вѣстникъ“, еженедѣльная литературно-политическая газета, выходившая въ 1859—61 гг.; въ 1861 г. она была соединена съ „Русскою Рѣчью“ и прекратилась на 1-мъ номерѣ 1862 года. Издательницей „Русской Рѣчи“ была Евгенія Туръ, а редакторомъ Θεоктистовъ. Прекращеніе изданія вызвало остроумныя стихи Алмазова: „Похороны Русской Рѣчи“, въ которыхъ выведено большинство современныхъ русскихъ журналистовъ.

него „темпа вода во облацѣхъ воздушныхъ“. Что такое была литература наша для многоученаго и мрачнаго „Атенея“? Можетъ быть, тѣ странные, чтобы не сказать „страшные“ аиологи, которые онъ печаталъ въ видѣ десерта промежду своихъ тяжело-ученыхъ статей... 1) Что была наша литература для „Московского Обозрѣнія“? Разныя нѣмецкія и французскія брошюры?.. Ибо ко всѣмъ *нашимъ* явленіямъ оно, несмотря на свое кратковременное существованіе, успѣло уже отнестись съ озлобленіемъ до пѣны у рта. Что такое, наконецъ, наша литература для г-жи Евгеніи Туръ? Опять-таки, точно такъ же какъ для г. Павлова, *во-первыхъ*, ея собственные романы и повѣсти, да *во-вторыхъ*, романы, повѣсти и ученія сочиненія извѣстнаго кружка, весьма ограниченнаго даже и въ западномъ смыслѣ. А главное-то дѣло, что ея „Русской Рѣчи“ до русской литературы и до русской жизни собственной дѣла нѣтъ: эти интересы слишкомъ мелки передъ интересами борьбы съ ультрамонтанствомъ!.. 2)

Что же сказать о послѣднемъ, совершенно случайномъ убѣжищѣ западнаго взгляда, о столбцахъ фельетона „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“, — столбцахъ, которые становятся иногда ристалищемъ для барда, являющагося подъ таинственнымъ именемъ *Гымалэ*?. 3). Воззрѣнія этого барда — уже какой-то явный анахронизмъ, лишенный даже всякаго литературнаго такта. Вѣдь только при полнѣйшемъ отсутствіи этого, столь же необходимаго въ литературѣ, какъ и въ жизни, качества возможно было, напримѣръ, по поводу изданія пѣсенъ Кирѣевского, ругаться заднимъ числомъ надъ міромъ нашихъ эпическимъ сказаній и вообще нашего народнаго творчества. Явленіе истинно-изумительное!.. И тѣмъ болѣе оно изумительно, что бардъ газеты-колоніи совершенно расходится въ этомъ пунктѣ со взглядомъ журнала-метрополи, съ теперешнимъ направленіемъ „Отечественныхъ Записокъ“, — направленіемъ, болѣе славянофильскимъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ, чѣмъ само славянофильство. Многіе, читая глумленія г. Гымалэ надъ богатырями и Змѣемъ - Тугаринымъ, встрѣтившись неожиданно - негаданно съ этимъ странно-несвоевременнымъ повтореніемъ давно всѣмъ извѣст-

1) Трудно рѣшить, на какіе „апологи“ намекаетъ здѣсь Григорьевъ.

2) Намекъ на статью г-жи Туръ о Свѣчинѣ и ея ультра-монтанскомъ салонѣ, по поводу книги графа Фалу (Falloux).

3) Псевдонимъ Ю. А. Волкова, сотрудника „Библиотеки для Чтенія“ временъ Сенковского; его статьи въ „С. - Петерб. Вѣдомостяхъ“ вызывали частыя насмѣшки „Искры“.

Примѣч. В С.

ной статьи Бѣлинскаго, подумали: ужъ не шутка ли это? не сдѣлано ли это по особенному ордеру метрополіи, для заявленія, что, дескать, вовсе не наши барды дѣйствуютъ на столбцахъ газеты, что мы, молъ, сами по себѣ, а они сами по себѣ, имѣютъ свое мнѣніе, высказываютъ свой взглядъ? Иначе никто не умѣлъ и не могъ объяснить себѣ какъ этой, такъ и другихъ, понетингъ удивительныхъ статей г. Гымалэ¹⁾.

4) „Отечественныя Записки“, нѣкогда такъ долго и съ такою славою проводившія взглядъ западный во всѣхъ самыхъ крайнихъ его послѣдствіяхъ, потомъ, по удаленіи Бѣлинскаго, лѣтъ десять дышавшія непроходимую скукою „капитальныхъ“ статей о русской литературѣ,—въ послѣдніе два года рѣшились выступить въ обновкѣ. Заимствовавши у славянофильства его вѣру въ народъ и его убѣжденіе въ разобщенности народа съ образованнымъ классомъ, онѣ рѣшительно не знаютъ до сихъ поръ, что дѣлать съ своей обновкой и какъ съ ней обращаться. Съ народомъ и съ его бытомъ онѣ познакомились очень недавно. Пораженные новымъ міромъ, который раскрылся имъ въ сказкахъ, собранныхъ г. Лоанасевымъ, и въ пѣсняхъ, набранныхъ у разныхъ собирателей г. Якушкинымъ, онѣ пришли въ такой неофитскій азартъ, что все неподходящее подъ жизненный взглядъ и складъ рѣчи этихъ сказокъ и пѣсенъ перестали считать за литературу народа. Предложивши глубокомысленно вопросъ: народный ли поэтъ Пушкинъ? и разрѣшивши его отрицательно, на томъ основаніи, что народъ Пушкина не читаетъ²⁾, онѣ забыли въ своемъ иионическомъ азартѣ два простыхъ обстоятельства: 1) что ни одинъ изъ нервостепенныхъ европейскихъ поэтовъ не подойдетъ подъ рамку ихъ понятія о народномъ поэтѣ, а подойдутъ развѣ только второстепенные и третьестепенные — Борнсъ, Геббель и т. д., и 2) что только большее распространеніе грамотности въ народѣ покажетъ, будетъ ли народъ читать Пушкина или нѣтъ. Вообще же о взглядѣ этого журнала нельзя говорить въ настоящую минуту какъ о чемъ-либо самостоятельномъ. Это—клочки славянофильства, лишеныя жизненной цѣлости и энергическаго духа славянофильства.

¹⁾ По поводу этихъ словъ Григорьева слѣдуетъ вспомнить, что въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1860 г. была помѣщена его обширная статья о русскихъ народныхъ пѣсняхъ (см. выпускъ 14-й настоящаго изданія).

²⁾ См. статью С. И. Дудышкина въ „Отечеств. Запискахъ“ 1860 г. № 7: „Пушкинъ—народный поэтъ?“

5) Паконецъ, взгляды, выросшій первоначально на почвѣ западной, но значительно видоизмѣнившійся сообразно съ потребностями времени, примѣнившійся, приладившійся къ этимъ потребностямъ и довольно долго отвѣчавшій на нихъ съ несомнѣннымъ тактомъ и замѣчательною ловкостью, представлялъ собою до послѣдняго года „Русскій Вѣстникъ“.

Исчезшій кружокъ умѣренныхъ западниковъ, кружокъ уединеннаго Поръ-Рояля западничества, опъ не имѣлъ за собою кораблей, которые надо было бы сжечь, вступая на новыи берегъ. Ни г. Катковъ, ни г. Леонтьевъ не заявили себя въ литературѣ никакимъ рѣзкимъ фактомъ, по которому бы ихъ можно было прямо отнести къ направленію послѣдней эпохи Бѣлинскаго и „Писемъ объ изученіи природы“. Скромные и добросовѣстные ученые, извѣстные спеціальными философскими, историческими или филологическими трудами, они являлись, до изданія „Вѣстника“, только жрецами западной науки, окруженные нѣскольکو, какъ и подобаетъ жрецамъ, таинственнымъ нимбомъ.

Время, выбранное ими для изданія новаго журнала, было самое благоприятное. „Современникъ“ тогда еще не сложился и, находясь „безъ кормила и весла“, служилъ преимущественно гипнодромомъ для фешенебельныхъ ристаній „иногородняго подписчика“¹⁾; „Отечественныя Записки“ дышали, какъ выше упомянуто, мертвящей скукою „капитальныхъ“ статей о русской литературѣ, распространившихъ до пересела замѣчанія къ хрестоматіи г. Галахова. Единственный чисто-литературный журналъ — не удивляйтесь! — былъ въ это время безалаберный и безобразный „Москвитянинъ“, гдѣ на каждую бочку меда, въ видѣ комедіи Островскаго или романа Писемскаго, приходилось по ведру дегтя, въ родѣ твореній гг. М. Дмитриева, Кулжинскаго, Архипова и т. д., гдѣ постоянно все передовые взгляды главнаго редактора и все юношески-горячія и честныя стремленія молодой редакціи парализовались самымъ же главнымъ редакторомъ, его непонятною привязанностью къ старому хламу и его неохотою вести журналъ аккуратно и современно въ матеріальномъ отношеніи. Большая часть идей литературныхъ, которыя были проповѣдываемы и защищаемы тогда „Москвитяниномъ“, постепенно перешли въ литературу, но перешли какъ гбъчто

¹⁾ Т.-е. Н. П. Панаева, который подписывалъ этимъ псевдонимомъ свои ежемѣсячные фельетоны.

стихийное. О журналѣ нѣтъ и помину — да и подѣломъ! Не вливаютъ вина новаго въ мѣхи ветхіе.

Въ эту-то минуту броженія однѣхъ силъ и застоя другихъ явился „Русскій Вѣстникъ“ — и сразу сталъ передовымъ и первенствующимъ органомъ. „Русская Бесѣда“ явилась позднѣе, да и явившись, не могла съ нимъ соперничать.

Журналъ началъ нѣсколько неоиредѣленно, но очень ловко. Изъ туманной, хотя и глубокомысленной статьи главнаго редактора о Пушкинѣ ¹⁾ трудно было понять отношеніе новаго органа мысли къ литературѣ и жизни: казалось только всеѣмъ, что направленіе его и дѣльно, и серьезно, и не враждебно литературѣ. Въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ явилась даже комедія Островскаго („Въ чужомъ пиру похмелье“), что немало содѣйствовало къ утвержденію этой мысли... Между тѣмъ съ первыхъ же политическихъ статей журнала почувалось нѣчто новое, до тѣхъ поръ небывалое, серьезное и энергическое, готовое на всякую честную борьбу. Статьи эти были бы передовыми въ любомъ изъ лучшихъ европейскихъ журналовъ и вполне заслуживали названіе руководящихъ. Много нужно было времени для того, чтобы разоблачились агсапа *fidei*, чтобы вышла наружу англійская подкладка доктрины, да и самъ журналъ еще не высказывалъ такъ прямо, какъ впоследствии, своей англоманіи. Съ другой стороны, новое направленіе съ самаго же начала показало, какъ говорится, „зубы“, и притомъ очень острые. Письма Байбороды, — справедливо ли, нѣтъ ли заѣдалъ Байборода своихъ противниковъ, — на нашу еще не совсемъ твердую читающую массу имѣли большое вліяніе. ²⁾

Вслѣдствіе всего этого передъ авторитетомъ „Русскаго Вѣстника“ преклонилось все, кромѣ славянофильства, а для славянофильства еще не насталъ его *день*.

Въ эту первую эпоху своего существованія „Вѣстникъ“ хотя уже и начиналъ въ своемъ литературномъ отдѣлѣ угощать публику произведеніями г-жи Нарской и князя Кугушева ³⁾, стало быть,

¹⁾ Статья Каткова о Пушкинѣ была напечатана въ трехъ первыхъ книжкахъ „Рус. Вѣстника“ за 1856 г.

²⁾ Байборода — коллективный псевдонимъ, подъ которымъ писали въ „Рус. Вѣстникѣ“ Катковъ, Леонтьевъ и О. М. Дмитріевъ.

³⁾ *Кн. Кугушевъ*, писатель и драматургъ, авторъ извѣстной повѣсти „Корнетъ Отлетаевъ“ (1856) и многочисленныхъ комедій. *Нарская* — псевдонимъ

свидѣтельствоваль уже нѣкоторымъ образомъ или о своемъ крайнемъ безвкусіи въ литературѣ, или о своемъ къ ней крайнемъ равнодушіи, — но за превосходныя политическія статьи и за серьезное поднятiе многихъ общественныхъ вопросовъ читатели взглянули бы сквозь пальцы, какъ на чистую случайность, даже и на то, если бы журналу вздумалось вдругъ иомѣстить въ отдѣлѣ изящной литературы даже „Прекрасную астраханку“, или „Битву русскихъ съ кабардинцами“, — произведенія, отъ которыхъ, правду сказать, не слишкомъ далеко отстоятъ различные плоды „дамскаго“ и „кавалерскаго“ баловства, помѣщавшіеся и понынѣ еще зачастую помѣщаемые въ почтенномъ журналѣ.

Сначала такая литературная неразборчивость казалась всеѣмъ случайностью. Но въ томъ-то и дѣло, что такъ только *казалось*. Подъ этою неразборчивостію таилось равнодушіе къ литературѣ. А къ литературѣ нельзя долго оставаться равнодушнымъ. Подъ равнодушіемъ къ литературѣ таится еще нѣчто другое...

Что же именно?

А вотъ видите ли: подъ равнодушіемъ къ литературѣ таится необходимо равнодушіе къ жизни, которой литература служить живымъ голосомъ. Въдѣ литература — вовсе не какая-нибудь отвлеченность. Въдѣ неужели *точно* о литературѣ идетъ толкъ, когда напримѣръ „Современникъ“ вдругъ объявить Пушкина нѣтомъ иобрякушекъ, или г. Дудышкинъ вдругъ ни съ того, ни съ сего лишитъ Пушкина его народнаго значенія? Въдѣ неужели тоже по одному только тупому безвкусію „Русскій Вѣстникъ“ безразлично готовъ помѣщать и Островскаго съ Тургеневымъ и Толстымъ, и произведенія г-жи Нарской, гг. Кугушева, Ахшарумова и tutti quanti? Неужели этотъ многоученый и достопочтенный журналъ тоже только по безвкусію чуждается помѣщенія у себя произведеній въ народпомъ духѣ, которыя, наскучивши лежать въ шкафахъ редакціи, вылетаютъ, наконецъ, изъ клѣтокъ на свѣтъ Божій и съ немалымъ успѣхомъ появляются въ другихъ журналахъ? Не можетъ быть, чтобы все это дѣлалось *такъ*. Тутъ на днѣ дѣла лежатъ коренныя симпатіи и антипатіи, не къ певипнымъ, конечно, произведеніямъ литературы, а къ жизни, къ той жизни, которой

кп. Н. П. Шаликовой, родной тетки (по матери) М. Н. Каткова, помѣстившаго въ своемъ журналѣ цѣлый рядъ ея повѣстей и рассказовъ.

литература является выраженіемъ... Даже и направленіе чисто-эстетическое, и то, несмотря на свою кастрированность, имѣетъ тоже свои симпатіи и антипатіи, имѣетъ основы болѣе глубокія, чѣмъ теорію шахматной игры въ искусствѣ. Подъ односторонними крайностями этого „невиннаго“ евнуха все-таки, хоть, можетъ быть, и безсознательно, скрываются вопросы общественные, нравственные и психическіе. Помните ли вы, напримѣръ, что въ одно время у критиковъ этого воззрѣнія появилась манія говорить легкимъ тономъ о Зандѣ? помните ли вы, что недавно они заявили тоже свое легкое мнѣніе о Шиллерѣ? Неужели же подобныя маніи и странныя заявленія порождены одними эстетическими требованіями? Полноте пожалуйте. Мѣщански-нравственному идеальчику противны протестъ Занда и порывистый, уносящій лиризмъ Шиллера; комфортъ это нарушаетъ, изъ границъ условнаго приличія выводить ⁴⁾. Вотъ въ чемъ и вся штука.

Не только въ каждомъ вопросѣ искусства, но даже и въ каждомъ вопросѣ науки лежитъ на днѣ его другой вопросъ, вопросъ плоти и крови, вопросъ, тѣсно связанный съ существенными сторонами жизни,—и собственно только вопросы плоти и крови важны, потому что только въ такіе вопросы вносятъ плоть и кровь могучіе силы борцы. Человѣкъ столь великой души и жизненной энергіи, какъ Ломоносовъ, не нисалъ бы доноса на Миллера за выводъ нашихъ варяговъ изъ чужой земли, и не длился бы этотъ вопросъ, безпрестанно возникая вновь, до нашихъ временъ, если бы подъ нимъ не скрывалось живого вопроса о значеніи и силѣ нашей національности. *Родъ* и *община* не дѣлили бы такъ рѣзко и враждебно насъ всѣхъ, служащихъ знанію и слову, если бы корнями своими эти „ученыя“ понятія не вращались въ живую жизнь, не опредѣляли бы такъ или иначе ея значеніе въ прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ. Борьба за мысль чисто-головную невозможна или смѣшна, какъ ссора Мольеровскихъ философовъ въ „*Le mariage forcé*“. Только за ту головную мысль люди борются, которой корни въ сердцахъ, въ его сочувствіяхъ и отвращеніяхъ, въ его горячихъ вѣрованіяхъ или таинственныхъ, смутныхъ, но неотразимыхъ и, какъ нѣкая сила, могущественныхъ предчувствіяхъ.

¹⁾ Григорьевъ имѣетъ въ виду, вѣроятно, нѣкоторыя замѣчанія въ критическихъ статьяхъ Дружинина, главнаго представителя въ эту эпоху теоріи „чистаго искусства“.

Тѣмъ болѣе относится это къ литературѣ, по сущности своей болѣе общедоступной, болѣе демократической, нежели знаніе. Въ ней интересы имѣютъ еще болѣе плотной, кровный характеръ. Интересы эти (симпатіи или антипатіи) возбуждаютъ въ ней не одни только первостепенныя явленія, каковы, напримѣръ, въ нашей литературѣ Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь, Лермонтовъ, Островскій, хотя, разумѣется, въ отношеніи къ такимъ, дѣлающимъ эпоху явленіямъ, симпатіи или антипатіи высказываются сильнѣе и очевиднѣе. Вообще никакое явленіе словесности не можетъ быть разсматриваемо въ его эстетической замкнутости и отдѣльности. Отразило произведеніе дѣйствительныя, живыя потребности общественнаго организма,— вы, конечно, уже задаете себѣ вопросы о значеніи этихъ потребностей; выразило оно собою какія-либо насильственные и болѣзненные напряженія, вопросы, извигъ пришедшіе и искусственно привитые или искусственно подогрѣтые,— вы начинаете отыскивать причины напряженій и искусственныхъ вопросовъ. Отъ ви́шняго вида растенія вы идете къ корнямъ, роетесь въ глубь. Маловажны часто произведенія, но важны и глубоко знаменательны вопросы, ими затрогиваемые или обнаруживаемые, попытки разрѣшенія которыхъ получаютъ значеніе положительное или отрицательное; важны и знаменательны эти отклики многообразной жизни, какъ сама жизнь многообразныя, отклики мѣстностей, сословіій, кастъ, толковъ, различныхъ слоевъ образованности, отклики самобытные или съ чужого голоса, туземные или навѣянные извигъ, важны и знаменательны для мыслителя, религіозно-внимательно прислушивающагося къ подземной работѣ зиждательныхъ силъ жизни.

Явное дѣло, стало-быть, что когда оказывается въ извѣстномъ направленіи равнодушіе къ литературѣ народа, оно въ переводѣ на прямой языкъ есть просто равнодушіе къ жизни народа. Равнодушіе же къ жизни какой бы то ни было — явленіе совершенно неестественное.

Въ сущности оно — только маска презрѣнія или ненависти. Потому-то въ направленіяхъ энергически-самостоятельныхъ, каковы славянофильство и направленіе теоретиковъ, эта маска даже и не надѣвается. Славянофильство прямо презираетъ всю *тилю*, по его мнѣнію, жизнь и не скрываетъ своего неуваженія ко всей литературѣ, служившей и доселѣ служащей выраженіемъ этой гнили. Теоретики прямо и безстрашно уничтожаютъ въ лицѣ Пуни-

кина всю, не только русскую поэзію,— гоня се вонъ изъ жизни,— прямо ненавидятъ все то, что не ведетъ непосредственно къ гражданской честности и матеріальному благосостоянію, ненавидятъ философію, какъ чушь и ерунду, ненавидятъ исторію, стремящуюся осмыслить то, что по ихъ теоріи есть только заблужденіе и препятствіе къ осуществленію ихъ идеала.

„Русскій Вѣстникъ“ не сталъ въ такое прямое отношеніе къ жизни и къ литературѣ. Его вражда къ нимъ — не безусловная, какъ вражда теоретиковъ, и не пуританская, какъ вражда славянофильства. Идеалъ его узокъ, въ сравненіи съ идеаломъ теоретиковъ, и не самостоятеленъ, въ сравненіи съ идеаломъ славянофильства.

Для „Русскаго Вѣстника“, въ противоположность славянофильству, только европейская, и притомъ англійская, жизнь и только европейская литература суть явленія дѣйствительныя и законныя; русская же жизнь и русская литература, пока онѣ не доросли до европейскихъ, и притомъ англійскихъ, размѣровъ,—чистый вздоръ, къ которому можно относиться съ полнѣйшимъ равнодушіемъ, переходящимъ напослѣдокъ въ цинизмъ презрѣнія, ибо только такимъ цинизмомъ и можно объяснить помѣщеніе „Прекрасныхъ астраханокъ“ въ многоученомъ журналѣ. Ему ни въ жизни нашей, ни въ литературѣ ничто не дорого: нынче редакція помѣститъ, и помѣститъ съ большимъ удовольствіемъ, произведеніе Тургенева, Островскаго, Толстого или Кохановской, но никогда не подниметъ перчатки за кого-либо изъ этихъ писателей, а завтра или, пожалуй, и нынче же, въ той же книжкѣ что-нибудь въ родѣ „Корнета Отлетаева“ или „Битвы русскихъ съ кабардинцами“. Оно и понятно. Какъ произведенія упомянутыхъ писателей, такъ и произведенія г. Кугушева, г-жи Нарской или г. Зряхова ¹⁾, иередъ ихъ высшимъ, *аглицкимъ* (единственно патентованнымъ) воззрѣніемъ—величины равно безконечно-малыя. Потому же самому *нынче*, папримѣръ, они вооружились за самую легкую тѣнь, брошенную па личность Грановскаго, ибо *нынче* такъ было или казалось имъ нужно; *завтра* опи съ полнѣйшимъ равнодушіемъ дозволятъ г. Лопгину обличать *лжеученія* Бѣлипскаго.

Съ другой стороны, въ противоположность взгляду теоретиковъ, для „Русскаго Вѣстника“ одна только *русская* жизнь и одна

¹⁾ Николай Зряховъ—авторъ многочисленныхъ лубочныхъ романовъ 1830—40 гг.

только *русская* литература ничтожны до того, что ими не стоит и заниматься. Жизнь европейская, преимущественно же английская, — дѣло другое. Объ этой жизни и о ея литературѣ

какъ можно смѣть
Свое сужденіе имѣть?

Въ ней они нисколько не видятъ тѣхъ язвъ, которыя смѣло видить русскій взглядъ теоретиковъ, не склоняющихся ни передъ какимъ авторитетомъ. Извѣстныя явленія русской жизни и литературы „Русскій Вѣстникъ“, пожалуй, и приметъ благосклонно-величественно подъ свою „мышцу крѣпкую и руку высокую“, поколику эти явленія, какъ, напримѣръ, Пушкинъ, сблизжали насъ съ развитою жизнью, но дасть этимъ явленіямъ такое мизерное значеніе, что лучше бы онъ ужъ ихъ и не защищалъ. Точно по головкѣ иогладить да скажетъ: „пай, дитя, а кошка—дура!“ разумья подъ дурую-кошкою всякое самостоятельное проявленіе мысли и жизни. О *кошкѣ* онъ, впрочемъ, до сихъ поръ благоразумно молчалъ, молчалъ и объ Островскомъ и о Писемскомъ и даже о пародномъ значеніи Пушкина; но, вѣроятно, недолго *пробудетъ* въ таинственномъ молчаніи. Въ нынѣшнемъ году уже разверзлись врата капища, и начались экскурсіи въ область русской словесности.

Да! самый „Русскій Вѣстникъ“—и тотъ нашелъ невозможнымъ совершенно молчать о литературѣ: фактъ иоистинѣ замѣчательный! Начавши же говорить о литературѣ, журналъ, если онъ только захочетъ быть послѣдователемъ, не можетъ не обнаружить къ ней того презрѣнія, которое скрывалось до сихъ иоръ подъ маскою безразличія и равнодушія,—или самая сущность его воззрѣній должна радикально измѣниться.

Въ жизни „Русскаго Вѣстника“ бывали кризисы, во время которыхъ мелькали временами замѣчательные симптомы коренной перемѣны во взглядѣ; но эти симптомы были фальшивые. Взгляду „Русскаго Вѣстника“ измѣниться нельзя: послѣ кризисовъ только обнаруживалась все болѣе и болѣе патентованная и прочная английская подкладка, хотя самые кризисы были такого свойства, что могли измѣнить направленіе журнала 1).

1) Чтобы понять всѣ эти намеки, слѣдуетъ припомнить, что Катковъ въ это время находился еще въ періодѣ своего англофильства; поэтому въ современныхъ сатирическихъ журналахъ его изображали обыкновенно въ клѣтчатомъ англійскомъ костюмѣ, съ шотландской шапочкой на головѣ.

Первый такой кризисъ былъ тогда, когда изъ журнала выдѣлились ультра-западные элементы и сосредоточились въ „Атенеѣ“.

Называя эти элементы ультра-западными, я разумѣю западничество въ его конечномъ у насъ развитіи, т.-е.

1) *Въ идеѣ централизаціи*, передъ идеаломъ которой, по ученію Бѣлинскаго въ половинѣ сороковыхъ годовъ и по ученію „Атенея“ въ концѣ пятидесятихъ, „Турція, какъ организованное государство“, предпочитается „племенному сброду“ славянства, и Австрія, въ лицѣ ея жандармовъ, играетъ въ отношеніи къ этому племенному сброду „цивилизаторскую роль“.

2) *Въ идеѣ отвлеченнаго человѣчества*, передъ которымъ исчезаютъ народы и народности.

3) *Въ идеѣ Сатурна-прогресса*, постоянно пожирающаго чады своихъ,—идеѣ, энергически выраженной Бѣлинскимъ въ положеніи, что „гвоздь, выкованный руками человѣческими, дороже и лучше самаго лучшаго цвѣтка въ природѣ“.

Ультра-западники „Атенея“ далеко были и сами не послѣдовательны въ своемъ ученіи. Послѣднюю изъ этихъ идей, по крайней мѣрѣ такъ, какъ она смѣло и рѣзко выразилась въ ноложеніи Бѣлинскаго, они поднять не смѣли. Ее подняли и повели дальше теоретики, повели честно до знаменитыхъ положеній: а) что яблоко нарисованное никогда не можетъ быть такъ *вкусно*, какъ яблоко настоящее, и что красавица написанная никогда не удовлетворитъ насъ такъ, какъ красавица живая, и б) что все, считавшееся до сихъ поръ за важное и даже за главное въ жизни человѣчества: философія, исторія, поэзія, искусство — въ сущности вздоръ, что все дѣло въ гражданской честности и въ матеріальномъ благосостояніи. Ультра же западники взяли себѣ вполнѣ только идею централизаціи и вполнину идею отвлеченнаго человѣчества. Удовлетворившись инстинктивной враждой къ нашей, славянской національности, они указали границы понятію о человѣчествѣ. Человѣчество для нихъ есть германо-романская національность, и передъ жизнью этой національности наша русская жизнь есть и была звѣриная, а не человѣческая. Вотъ все, до чего они дошли.

Между тѣмъ на этомъ самомъ крайнемъ пунктѣ ученія западный лагерь долженъ былъ разъединиться.

Самая германо-романская національность выработала своимъ развитіемъ двѣ идеи:

1) *идею централизаціи*, т.-е. поглощенія личности общиною, все равно, будетъ ли эта община панство, ветхозавѣтная республика пуританъ, терроръ конвента или фаланстера Фурье,

и 2) *идею свободы* въ полнѣйшемъ развитіи *личности и національности* до самыхъ крайнихъ предѣловъ: до потери протестантскими церквями сознанія своего происхожденія и возстановленія этого сознанія путемъ ученаго изслѣдованія, надъ чѣмъ такъ зло и остроумно смѣялся покойный Хомяковъ, и до освященія въ Англій всякихъ предразсудковъ политическихъ, общественныхъ и нравственныхъ потому только, что они, эти предразсудки,—національные, англійскіе.

Ультра-западные элементы первобытнаго „Русскаго Вѣстника“ выбрали по своимъ личнымъ вкусамъ и наклонностямъ первую идею, но не были послѣдовательны въ своемъ ученіи. Поэтому они стали скоро совершенно ненужны. Ихъ смѣнили на сценѣ теоретики, люди свѣжіе, горячіе и рѣшительные, которыхъ не остановилъ германо-романскій идеалъ общественности.

Другіе элементы, оставшіеся въ „Вѣстникѣ“ и плотнѣе въ немъ сосредоточившіеся, принялись за разработку другой идеи.

Началась вторая эпоха существованія журнала.

Въ эту эпоху сила его возросла еще больше. Направленіе не потеряло, а, напротивъ, много выиграло влѣдствіе отдѣленія отъ него примѣси враждебныхъ элементовъ. Силу, однако, получилъ „Вѣстникъ“ болѣе отрицательною, чѣмъ положительною стороною своей дѣятельности, а именно своей враждою къ централизаціи. Вражда дѣйствительно выражалась съ такою энергіею и послѣдовательностью, что даже славянскія національности приняты были журналомъ подъ милостивое покровительство... Тутъ въ нѣкоторомъ родѣ были сожжены даже корабли.

Позвольте по сему поводу сдѣлать маленькую эпизодическую вставку. Помните ли вы, какъ загрызъ Байборода профессора Крылова за статью его, помѣщенную въ „Русской Бесѣдѣ“? ¹⁾ Вѣроятно,

¹⁾ Послѣ выхода въ свѣтъ диссертациі Чичерина: „Областные учреждения Россіи въ XVII вѣкѣ“ (1856 г.) профессоръ римскаго права П. И. Крыловъ выступилъ противъ молодого ученаго въ „Русской Бесѣдѣ“ Аксакова съ обширною критическою статьею, вызвавшей отвѣтъ Каткова, принявшаго сторону Чичерина и напечатавшаго, подъ псевдонимомъ *Байбороды*, рядъ „Изобличительныхъ писемъ“ на страницахъ редактируемаго имъ „Русскаго Вѣстника“. Такимъ образомъ возникла довольно рѣзкая полемика, въ которой, кромѣ на-

и тогда многие догадывались, что дѣло идетъ не объ *equester* и *equestris* и не о тому подобныхъ спорныхъ специальностяхъ. Изъ-за этого не топчутъ людей въ грязь. Самый духъ статьи тоже не могъ подать повода къ озлобленію. Вѣдь только во второй етатѣ своей, доведенный до ожесточенія своими антагонистами, Крыловъ началъ нередь ними заискивать. Въ первой же, кромѣ своеобразнаго взгляда на развитіе Рима да эпизодической мысли о возможности федеративнаго будущаго для славянъ въ XII вѣкѣ, ничего не было такого, что могло бы возбудить сильный антагонизмъ. Правда, Крыловъ своей оригинальной и, надобно сказать правду, могущественной діалектикой въ пухъ и прахъ разбивалъ централизованный взглядъ г. Чичерина на исторію Россіи, но не изъ-за личности же г. Чичерина поднять былъ ученый скандалъ. Дѣло въ томъ, что „Вѣстникъ“ первоначальнаго состава еще стоялъ за централизацію, и такимъ его элементамъ, какъ гг. Коршъ, Соловьевъ, Чичеринъ, мысль о томъ, что татары—не благодѣтели наши, а задержатели нашего развитія,—мысль, которая влекла за собою историческое развѣнчаніе прогрессистовъ—Ивана IV и его сотрудниковъ,—была рѣшительно „непереносна“. Вотъ въ чемъ была и вся „штука“, а ужъ, конечно, не въ *ordo equestris*. А между тѣмъ эта „штука“ заставила замѣчательнаго, но, какъ видно, не сильнаго характеромъ мыслителя выйти изъ себя и въ діалектическомъ увлеченіи разразиться другою статьею, иоистинѣ уже постыдною. Что же касается до первой статьи, то она, встрѣченная враждою „Вѣстника“ первой эпохи, въ „Вѣстникѣ“ второго образованія—въ эпоху вражды съ централизаціей—могла бы, безъ всякаго сомнѣнія, занять самое почетное мѣсто. Вѣдь на страницахъ „Вѣстника“ второй эпохи появлялись временами ультра-національныя, даже ультра-славянскія и даже—*credite, poster!*—ультра-русскія статьи гг. Палаузова и Берга.

Многіе добрые люди стали уже думать, что „Русскій Вѣстникъ“ рѣшительно хочетъ сдѣлаться національнымъ журналомъ и готовы были отъ всей души признать за нимъ руководящее значеніе не

званныхъ лицъ принялъ участіе и П. М. Леонтьевъ, доказывавшій между прочимъ недостаточное знакомство Крылова съ латинскимъ языкомъ (намекъ на это есть въ приводимомъ Григорьевымъ ниже выраженіи *ordo equestris*, употребляемымъ Крыловымъ вмѣсто правильнаго *ordo equester*). Полемика эта такъ сильно подѣйствовала на Крылова, что онъ серьезно заболѣлъ.

Примч. В. С.

только въ политикѣ, но въ жизни вообще и, пожалуй, въ литературѣ.

Эти добрые люди ошиблись.

У „Русскаго Вѣстника“ вторичнаго образованія была только отрицательная послѣдовательность. На положительную же, какъ оказалось впоследствии, у него не хватало такта или энергій.

А счастье было такъ возможно,
Такъ близко!..

говоря словами Татьяны; руководящее значеніе, до котораго онъ съ самаго начала заявилъ себя охотникомъ, могло окончательно за нимъ утвердиться!.. Если бы у журнала стало силы поднять идею національности въ ея широкомъ значеніи,—первенство его, даже до сихъ поръ, было бы несомнѣнно. Ни взглядъ теоретиковъ, несмотря на свою послѣдовательность, ни взглядъ славянофильства, несмотря на свою крѣпкую почву, не устояли бы противъ этого виолиѣ практическаго взгляда. Утоиѣи о соединеніи луны съ землею, очевидныя для всякаго разумѣющаго „смыслъ писаній“ подъ безошаднымъ отрицаніемъ теоретиковъ; суровый нуританизмъ и исключительная любовь къ однимъ элементамъ народной жизни, съ нескрываемою враждою къ остальнымъ,—столь же очевидныя свойства славянофильства,—переваримы не для всякаго желудка и если до сихъ поръ перевариваются, то во имя отрицанія, въ которомъ все мы согласны. Простое же, чистое понятіе о національности, принятое со всеми его жизненными послѣдствіями—хотя бы то даже съ Петровской реформой и купеческимъ бытомъ „темнаго царства“ — не оскорбляло бы никакихъ кровныхъ симпатій, симпатій къ жизни и къ искусству.

Въ такомъ случаѣ, т.-е. выкинувъ флагъ широкаго понятія національности, „Русскій Вѣстникъ“ неминуемо долженъ былъ бы выйти изъ своего неопредѣленнаго и безразлично-равнодушнаго отношенія къ литературѣ, и притомъ выйти не такъ, какъ онъ вынужденъ былъ въ послѣднее время. Руководящее значеніе прочно для направленій только тогда, когда они опираются на жизнь и литературу, когда высшія точки ихъ суть высшія точки самой жизни и самой литературы, когда литература народа есть для нихъ выраженіе національной, такъ или иначе складывающейся или уже сложившейся жизни. Тотъ фактъ, что при всемъ равнодушіи къ національной жизни и національной литературѣ, „Вѣст-

никъ“ пользовался однако долго несомигннмъ первействомъ, — поясняется только нашимъ напряженнымъ общественнымъ состояніемъ. Цѣлостное развитіе ушло такъ-сказать на время въ глубь, на задній планъ, а нѣкоторыя стороны его рѣзко и напряженно выдвинулись впередъ: вопросы крестьянскаго быта, судопроизводства, финансовъ, общественной гласности и проч. Эти выдающіеся вопросы „Русскій Вѣстникъ“ поднималъ въ свое время такъ сильно и такъ дѣльно, что съ нимъ все благомыслящія люди соглашались, тѣмъ болѣе, что разработка вопросовъ была большею частію отрицательная, указывавшая преимущественно на наши недостатки; положительная же сторона, патентованная „англицкая“ подкладка еще не проступала наружу такъ явно, какъ теперь.

Между прочимъ успѣху и вліянію журнала немало помогла и литература, не пользующаяся его большимъ сочувствіемъ. Я говорю впрочемъ не о произведеніяхъ Островскаго, Тургенева, Толстого, Кохановской: то были рѣдкіе гости въ „Вѣстникъ“. Но въ немъ болѣе года являлся дѣятелемъ единственный истинно-даровитый и замѣчательный обличитель—Щедринъ. Какимъ образомъ этотъ писатель, своей глубокой любовью къ народу близкій къ славянофильству, а смѣлою послѣдовательностью въ отрицаніи не уступающій теоретикамъ, попалъ въ „Вѣстникъ“, и какъ „Вѣстникъ“ печаталъ нѣкоторыя изъ его разсказовъ, напримѣръ „Аришущку“ и „Мароу Кузьмовну“, — это можетъ быть объяснено только неустановленностью, неопредѣленностью нашихъ воззрѣній вообще.

Пока дѣло идетъ объ отрицаніи, мы все сходимся, неключая развѣ изъ числа всехъ г. Аскоченскаго съ К^о. Мы часто, во имя этого общаго и всеми равно раздѣляемаго отрицанія, готовы взглянуть сквозь пальцы на совершенно несимпатическія положительныя стороны, проглядывающія у того или другого изъ отрицателей. До поры до времени, мы еще не можемъ и нѣкоторымъ образомъ не въ нравѣ быть послѣдовательными.

А между тѣмъ необходимость послѣдовательности рано или поздно, но все-таки неминуемо ждетъ насъ въ будущемъ, быть можетъ, и недалеко. Слова Любима Торцова насчетъ заноя: „нельзя перестать,—на такую линію попалъ“ относятся и къ ходу направленія мысли, если точно это—направленіе, а не праздношатааніе мысли.

Факты, свидѣтельствующіе о необходимости послѣдовательности, уже и теперь являются нерѣдко передъ нашими глазами. Разо-

шелся, наиримѣрь, Щедринъ съ „Вѣстникомъ“, и не сойдется съ нимъ никогда Островскій; разошелся окончательно Тургеневъ съ „Современникомъ“, и не расходится съ нимъ, несмотря на свою *положительную* народность, Островскій; вѣдь это все явленія важныя, явленія такія, которыя *стыдно* объяснять закулисными тайнами литературныхъ мірковъ: вѣдь „иретить“ отъ такихъ милыхъ объясненій. Тутъ есть нѣчто высшее закулисныхъ тайнъ, а закулисныя тайны, хотя-бы даже онѣ были, давно слѣдуетъ „по боку“! Высшее же есть послѣдовательность логики направленій, все равно—сознательная или безосознательная. Для будущаго будетъ странно не то, что Тургеневъ, наиримѣрь, разошелся съ направлениемъ „Современника“, а то, что въ „Современникѣ“ прямо отрицающемъ, какъ вещи ненужныя, философію, исторію, поэзію, народность, явились и „Дворянское гнѣздо“, и статья „о Донъ-Кихотѣ и Гамлетѣ“. Странно не то, что во все существованіе „Вѣстника“ въ немъ явилась всего только одна комедія Островскаго: „Въ чужомъ нѣру похмѣлье“, но то, что и эта одна комедія въ немъ явилась. И это будущее, которому странно покажется многое, что намъ не казалось странно, и, наоборотъ, совершенно ясно будетъ многое, въ чемъ мы путались, — оно уже начинается, оно уже заявляетъ необходимость логической послѣдовательности.

Въ особенности замѣчательно то, что послѣдовательность выражается непремѣнно по отношенію къ литературѣ. Пренебрегайте ею, какъ „Русскій Вѣстникъ“, отрицайте ея значеніе вообще, какъ теоретики, презирайте ее какъ живое выраженіе ложной жизни, подобно славянофильству,—вы все-таки какъ только выйдете изъ чистаго отрицанія на положительную почву, непремѣнно по отношенію къ ней выскажете ваши симпатіи и антипатіи. И нельзя иначе. Она одна есть *положительное* выраженіе жизни, васъ окружающей. Пужды нѣтъ, что она есть *идеальное* выраженіе этой жизни. Мы давно кажется перестали вѣрить, чтобы *идеальное* было нѣчто отвлеченное отъ жизни. Мы знаемъ все, какъ знаетъ даже Печоринъ, что идея есть явленіе органическое, что она носится въ воздухъ, которымъ мы дышимъ, что она имѣетъ силу, крѣпкую, какъ обоюдоострый мечъ.

Все идеальное есть не что иное, какъ ароматъ и цвѣтъ реальнаго, и, какъ таковое, непремѣнно выражается въ литературѣ. Противень вамъ этотъ запахъ и не нравится цвѣтъ, вы въ сущ-

ности враждуете съ почвою и воздухомъ. „На зеркало нечего пенять, коли рожа крива“, повторилъ бы я Гоголевскій эпиграфъ къ „Ревизору“, если бы съ понятіемъ о зеркалѣ не связывалось понятія о слѣпой безсознательности литературы или, точнѣе сказать, искусства. Вы не литературой, а самой жизнью, ей отражаемою, недовольны, но ваше недовольство жизнью неизрѣнно выразится такъ или иначе по отношенію къ литературѣ.

Посмотрите, какъ рѣзко начинаютъ уже обозначаться наши различныя направленія, какъ настоятельна становится для каждого необходимость сжигать за собою корабли. Развѣ можно въ одно и то же время вполнѣ сочувствовать Пушкину и вмѣстѣ съ тѣмъ сочувствовать славянофиламъ и теоретикамъ? сочувствовать Островскому и вмѣстѣ сочувствовать англоманамъ?

Потому что, вѣдь чтó такое Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Островскій въ переводѣ на чистый и ясный языкъ? Пушкинъ — это узаконеніе поэзіи и жизни, идеализма мысли и ощущеній, и вотъ почему онъ для теоретиковъ „поэтъ побрякушекъ“; Пушкинъ, это наше право на Европу и на нашу *европейскую* національность, а вмѣстѣ съ тѣмъ и право на нашу самобытную особенность въ кругу другихъ европейскихъ національностей, — не на фантастическую и изолированную особенность, а на ту, какую Богъ далъ, какая сложилась изъ напора реформы и отсадковъ коренного быта, и вотъ почему его не любятъ славянофилы. Пушкинъ, это нашъ стройно и полно выразившійся протестъ противъ догматизма и „жестокихъ правовъ“, повершитель дѣла многихъ приснонамятныхъ протестантовъ, отъ Ломоносова до Карамзина, и вотъ почему онъ для гг. Бурачка, Асоченскаго и всей компаніи мракобѣсія ненавистнѣй даже демоническаго Лермонтова. А вмѣстѣ съ тѣмъ, наконецъ, Пушкинъ-Бѣлкинъ, Пушкинъ „Капитанской дочки“, „Дубровскаго“, „Родословной“ и т. д. — узаконитель нашей почвы, преданій, реакція нашей родной обломовщины, которая, какова она ни на есть, все-таки жизненнѣе штольцовщины, и вотъ почему холодны къ нему ультра-реформаторы. Съ другой стороны, Лермонтовъ, — это узаконеніе нашей страстности, того тревожнаго начала, безъ котораго бы мы закисли въ *общинномъ* смиреніи славянофильства и въ дешево-умилительныхъ примиреніяхъ у дверей кабака. Что такое въ настоящую минуту Гоголь въ переводѣ на прямой языкъ, — трудно еще опредѣлить съ полною ясностью; но что во всякомъ случаѣ дѣло идетъ теперь не

о его великой художественной силѣ, а о чемъ-то другомъ,—въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Для многихъ рѣшительно непереваримы статьи о немъ г. Кулиша; но переваримы онѣ или нѣтъ, а ихъ не разобьешь голословными ругательствами, въ которыхъ подвизается г. Максимовичъ ¹⁾. Г. Кулишъ сказалъ только то, что большая половина украинской народности давно уже чувствовала; равно какъ Писемскій въ своей статьѣ о второй части „Мертвыхъ душъ“ первый смѣло высказалъ то, что чувствовали многіе русскіе люди,—то, что Гоголь не изобразитель великорусской жизни. Еще прежде Писемскаго, и тоже художникомъ, но не въ статьѣ, а въ романѣ, былъ сдѣланъ искренно, но какъ-то робко намекъ на безсердечность Гоголевскаго юмора... намекъ, въ ту пору едва замѣченный... ²⁾ Что такое, наконецъ, Островскій, этотъ, со всеми его недостатками, единственный *новый* и народный нашъ современный писатель? Съ одной стороны, историческая поправка Гоголя по отношенію къ русскому быту, почему онъ и ненавистенъ всеѣмъ западникамъ, даже умѣреннымъ. Съ другой стороны, онъ—продолжатель по духу, при всеѣмъ своеобразіи формъ, дѣла Пушкина и всеѣхъ протестантовъ, почему и не имѣеть счастья правиться славянофильству. Для него народъ—не крестьянство и старое боярство, а просто народъ. Какъ поэтъ народный, онъ не вдался въ соблазнительное поприще повѣствователя или драматурга изъ крестьянскаго быта, а взялъ народный бытъ въ его единственно самобытномъ выраженіи, не стѣпенномъ крѣпостнымъ правомъ, какъ крестьянство, и чужеземнымъ кафтаномъ, какъ бюрократія,—въ кунечествѣ, и равно видитъ въ немъ какъ уродливыя, такъ и правильныя стороны развитія... Теоретики поняли и глубоко поняли его безощадность въ изображеніи уродливостей „темнаго царства“,—но „лучъ свѣта въ темномъ царствѣ“ признали какъ-то неполно, какъ-то вынужденно.

¹⁾ Въ 1861 г. Кулишъ выступилъ въ журналѣ „Основа“ съ рѣзкой критикой разказовъ Гоголя изъ украинской жизни, при чемъ старался доказать недостаточное знакомство Гоголя съ малорусскимъ народнымъ бытомъ, правами, обычаями и ихъ неправильное изображеніе. Въ защиту Гоголя возсталъ его старый другъ Максимовичъ, помѣстившій въ газетѣ „День“ Аксакова цѣлый рядъ статей, опровергавшихъ утвержденія Кулиша.

²⁾ Вѣроятно имѣется въ виду то мѣсто въ „Бѣдныхъ людяхъ“ Достоевскаго, гдѣ Макаръ Дѣвушкинъ такъ энергично выражаетъ свое неудовольствіе „Шпилью“ Гоголя, въ которой онъ видитъ нѣчто для себя тягостное и обидное.

Теоретики... Когда я пишу теперь это слово, одного из теоретиковъ, едва ли не самого даровитого изъ нихъ, уже нѣтъ болѣе. Нѣтъ... когда еще такъ много пути лежало передъ нимъ, когда еще такъ много и могъ и долженъ былъ онъ сказать... Замокъ благородный и энергически-честный голосъ, молодая сила сошла въ нѣдра земли, — голосъ, хотя и недавній, но уже „со властью“, сила хотя и отрицательная, но народная... Эта дань понятнаго сожалѣнія о даровитомъ дѣятелѣ не значить съ моей стороны того, чтобы смерть Добролюбова считалъ я событіемъ, обезоруживающимъ взглядъ теоретиковъ. Этому взгляду еще много предстоитъ дѣла—и дѣлатели, пѣтъ сомнѣнія, найдутся.

Вотъ направленіе „Русскаго Вѣстника“—дѣло другое. За него начинаютъ бояться теперь самые жаркіе его поклонники.

Послѣ второй совершившейся въ немъ революціи, т.-е. послѣ выдѣленія изъ него элементовъ, образовавшихъ „Русскую Рѣчь“, его третичное образованіе не обнаружило въ немъ никакого существеннаго, живого содержанія, кромѣ англійской подкладки.

А между тѣмъ, именно въ этотъ моментъ, будь журналъ послѣдователенъ,—онъ, освободясь окончательно отъ всѣхъ своихъ ультра-западныхъ элементовъ, могъ стать въ самыя прямыя отношенія къ національной жизни и національной литературѣ, стать оплотомъ національности вообще и русской національности въ особенности. Ему предстояла и серьезная борьба, и, можетъ быть, прочная побѣда съ утвержденіемъ руководящаго значенія.

Почему въ самомъ дѣлѣ выдѣлилась изъ него „Русская Рѣчь“? Неужели же только изъ-за статьи г-жи Туръ о madame Свѣчной? Пожалуй, и изъ-за статьи, но во всякомъ случаѣ статья была только внѣшнимъ поводомъ ¹⁾. Для „Русскаго Вѣстника“—такъ, по крайней мѣрѣ, должно полагать—обнаружилось, что ярая вражда съ французскимъ ультрамонтанствомъ въ предѣлахъ Россіи—во-первыхъ, допкхотство, а во-вторыхъ, въ основахъ своихъ

¹⁾ Вышедшая въ 1860 году въ Парижѣ книга графа Фаллу о г-жѣ Свѣчной: „La vie et les oeuvres de m-me de Swetchine“ вызвала оживленную полемику въ русскихъ журналахъ того времени. Упомянутая Григорьевымъ статья г-жи Туръ была помѣщена въ апрѣльской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“; повидному, редакція не была ею вполне довольна, что побудило г-жу Туръ выйти изъ состава сотрудниковъ журнала и основать свою собственную литературную газету „Русская Рѣчь“ (1861—62 гг.).

расходится съ серьезнымъ философскимъ взглядомъ коренной редакціи на религиозные интересы. Взглядъ высказался не прямо, а въ видѣ намека и очень скоро погибъ въ хламъ печальнѣйшихъ домашнихъ дразговъ; но онъ высказался, онъ могъ быть шагомъ на новую ступень развитія. Шагомъ же этимъ редакція могла развязать себѣ руки на серьезную борьбу и съ ультразападничествомъ, и съ мракобѣсіемъ, и съ теоретиками, и съ славянофильствомъ.

Но борьба могла быть начата только во имя философіи, искусства и національности, — этихъ вѣчныхъ знаменъ „развращеннаго“ человѣчества, до тѣхъ поръ, пока луна не соединится съ землею.

Время для начатія борьбы было самое удобное и благоприятное. Мѣсяца за два, много за три до открытія г-жею Туръ походовъ на „Русскій Вѣстникъ“ раздался запросъ г. Дудышкина о томъ: народный ли поэтъ Пушкинъ? Незадолго также вышелъ и томъ „Русской Бесѣды“, въ которомъ рѣзко обнаружилось произвольное обращеніе славянофильства съ народнымъ бытомъ, даже въ самыхъ искреннихъ его выраженіяхъ, пѣсняхъ ¹⁾. Что же касается до теоретиковъ, то они тогда иоистинѣ свирѣпствовали надъ философіей, исторіей и искусствомъ.

Всякое направленіе живетъ борьбою, въ борьбѣ пріобрѣтаетъ и силы, и яркую особенность, и авторитетъ. Плохо то направленіе, которому не за что и не съ кѣмъ бороться: даже оно въ такомъ случаѣ и не направленіе, ибо или совсѣмъ безсильно, или примыкаетъ къ другому, сильнѣйшему, значить, попусту толчется на свѣтѣ, отвлекая только задаромъ силы отъ ихъ настоящаго средоточія. Признакъ самобытности и силы направленія—борьба... Это чувствовалъ и чувствуетъ „Русскій Вѣстникъ“; но за что же осталось ему бороться? Прежде, въ свою первоначальную эпоху, онъ боролся вообще за свѣтъ и свободу. Отдѣлились элементы, образовавшіе мрачный „Атенеи“, — „Вѣстникъ“ сталъ бороться противъ централизаціи за народности, мѣстности, исторію, избѣгая, впрочемъ, прямо говорить, *за что* онъ борется, и только смѣло обличая то, *противъ чего* онъ борется. Желѣзная логика фактовъ влекла его къ дальнѣйшей послѣдовательности; отъ него

¹⁾ Повидимому, Григорьевъ имѣетъ въ виду статью Кохановской въ „Русской Бесѣдѣ“ 1860 г., т. II: „Русскія боярскія пѣспн“, въ которой авторъ, при всей своей явной любви къ народной поэзіи, обнаруживаетъ много прозвона въ своихъ взглядахъ и толкованіяхъ.

отдѣлились послѣдніе элементы, препятствовавшіе ему поднять знамя народности. Положеніе его опредѣлялось окончательно.

Но на то, чтобы смѣло и послѣдовательно выкинуть флагъ національности, у „Русскаго Вѣстника“ опять-таки не стало такта или энергіи. А между тѣмъ, такъ какъ одной англійской подкладкой, хоть и патентованной, не проживешь, потому что надъ этой подкладкой удачно смѣялся даже и фельетонистъ трактирнаго „Развлеченія“, то все-таки надобно было сойти съ олимпійскихъ высотъ на арену борьбы...

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

Литературная дѣятельность графа Л. Толстого.

Въ первой статьѣ своей я, опредѣливши общее значеніе дѣятельности графа Л. Толстого, былъ долженъ поневолѣ пуститься въ разысканіе причинъ того страннаго факта, что эта въ высокой степени своеобразная и замѣчательная дѣятельность прошла незамѣченною передъ нашей критикой. Виною тому, какъ старался доказать я, было то, что критика наша перестала быть критикой литературною, т.-е., другими словами говоря, что литература перестала быть для направленій нашей критики полнѣйшимъ выраженіемъ и откровеніемъ жизни.

Я намекнулъ уже, что самая дѣятельность замѣчательно даровитаго писателя разошлась съ требованіями различныхъ болѣе или менѣе теоретическихъ наиравленій, что самое появленіе нѣкоторыхъ изъ его вещей, каковы, напримѣръ, „Альбертъ“ и „Люцернъ“, въ журналѣ теоретиковъ,—одинъ изъ странно воиующихъ фактовъ для мыслящаго наблюдателя.

По вѣдь ни „Альбертъ“, ни „Люцернъ“, ни „Три смерти“, ни, наконецъ, „Семейное счастье“ не составляютъ въ дѣятельности самого писателя какого-либо крутого поворота. Эти произведенія—прямое и притомъ не только логическое, но органическое послѣдствіе того же самаго несихческаго процесса, который раскрывается въ предшествовавшихъ его произведеніяхъ,—завершеніе того же анализа, который такъ норазилъ всѣхъ въ этихъ предшествовавшихъ произведеніяхъ...

Дѣятельность Толстого, какъ она до сихъ поръ обозначилась, можно раздѣлить собственно на три категоріи: 1) чисто-аналити-

ческія произведенія, каковы „Дѣтство и Отрочество“, „Юность“, 2) художественные этюды, свидѣтельствующіе о необыкновенной силѣ и особенности таланта, но имѣющіе совсѣмъ характеръ этюда, характеръ чисто-внѣшній, каковы „Метель“ и „Два гусара“, и 3) на результаты анализа, болѣе или менѣе удачные и полные, въ которыхъ художникъ стремится уже къ созданію самостоятельныхъ типовъ, къ воплощенію въ образы того, что добыто имъ посредствомъ анализа. Это или попытки, хотя и удивительныя, но нѣсколько голыя, догматическія, каковы „Записки маркера“, „Встрѣча въ отрядѣ“, „Альбертъ“, „Люцерпъ“, „Три смерти“, или совершенно органическія, живыя созданія: „Военные рассказы“ и „Семейное счастье“. Разумѣется, такое раздѣленіе справедливо только по отношенію къ общему характеру этихъ произведеній. Элементъ органической, элементъ художественнаго творчества присутствуетъ, и притомъ присутствуетъ въ замѣчательной степени въ произведеніяхъ совершенно аналитическихъ; элементы анализа, и притомъ самаго смѣлаго, входятъ и въ этюды, ибо вся дѣятельность Толстого, вмѣстѣ взятая, есть живая, органическая дѣятельность. Раздѣленіе принято здѣсь только какъ руководная нить для разъясненія нравственно-художественнаго процесса.

Толстой, какъ уже сказано было въ первой статьѣ, кинулся прежде всего всѣмъ въ глаза своимъ безпощаднымъ анализомъ. А анализъ поразилъ всѣхъ какъ въ „Дѣтствѣ и Отрочествѣ“, такъ и въ самыхъ „Военныхъ рассказахъ“,—первомъ полномъ и цѣльнымъ художественномъ выраженіи психическаго процесса.

Какого же свойства этотъ анализъ? Съ чего онъ начинается, какъ выражается, куда ведетъ и чѣмъ онъ различенъ отъ анализа другихъ художниковъ-аналитиковъ? Вотъ вопросы, которые должна поставить себѣ для разрѣшенія критика.

У художника, если онъ, дѣйствительно, художникъ, анализъ не можетъ быть голый: онъ облакается непременно въ поэтическіе образы; онъ приковывается даже иногда къ одному образу, преслѣдующему художника во все продолженіе его дѣятельности и видоизмѣняющемуся сообразно съ ея различными фазисами. Иногда этотъ образъ, этотъ нравственный идеаль самого художника, раздвояется, какъ, напримѣръ, у Пушкина—на Онѣгина и Ленскаго, у Лермонтова—на Арбенина и Звѣздича, на Печорина и Грушницкаго. Раздвоеніе образа есть, конечно, всегда признакъ движе-

нія впередъ самого художника, становящагося въ критическое отношеніе къ преслѣдующему его образу, и результатами своими оно, это раздѣленіе, гораздо богаче мрачно сосредоточенной однойсторонности, которая могла вполнѣ узакониться, можетъ быть, только разъ, въ лицѣ Байрона,—да и у того типъ нѣсколько двоятся, по крайней мѣрѣ по отношенію къ краскамъ,—на Гарольда и Донъ-Жуана.

Во всякомъ случаѣ у самыхъ объективныхъ, равно какъ у самыхъ субъективныхъ художниковъ можно доискаться одного главнаго, преслѣдующаго ихъ образа. Чѣмъ художникъ по натурѣ шире, тѣмъ шире и его идеаль, его любимый образъ, тѣмъ онъ народнѣе; но что нравственная жизнь художника воплощается въ извѣстномъ, видоизмѣняющемся и часто двоящемся образѣ,—это не подлежитъ сомнѣнію.

У Толстого точно такъ же есть этотъ преслѣдующій его образъ, къ которому приковался его анализъ,—то лицо, отъ имени котораго рассказываетъ онъ „Дѣтство, Отрочество и Юность“ и которое въ „Семейномъ счастьѣ“ мѣняетъ только полъ и является женщиной. Образъ этотъ раздвояется—но раздвояется только внѣшне—въ „Занискахъ маркера“, въ „Люцернѣ“, являясь княземъ Пехлюдовымъ и представляя только крайнія, послѣднія грани того анализа, который отличаетъ героя „Дѣтства, Отрочества и Юности“ отъ другихъ современныхъ героев... Онъ и Пехлюдовъ—вовсе не то, что Онѣгинъ и Ленскій, что, съ другой стороны, Пушкинъ-лирикъ и Пушкинъ-Бѣлкинъ; не то, что Арбенинъ и Звѣздичъ, изъ сліянія которыхъ является Печоринъ, и не то, что Печоринъ и Грушницкій, т.-е. идеаль и народія. Пехлюдовъ—крайняя грань цѣльнаго психическаго процесса, и мало того,—жизненное послѣдствіе той особенной обстановки, такъ называемаго аристократическаго мірка, въ которой онъ заключенъ, какъ въ раковинѣ, и изъ которой выбивается, очевидно, герой „Дѣтства, Отрочества и Юности“... Во всякомъ случаѣ психическій процессъ не раздвояется, а только доходитъ до своихъ крайнихъ граней.

Предполагая, что все читатели знакомы съ произведеніями Толстого, по крайней мѣрѣ съ главными изъ нихъ (ибо читатели, вовсе не знакомые съ ними, по всей вѣроятности, не станутъ читать моей статьи), я не буду приводить выписокъ и ограничусь, какъ всегда, только указаніями.

Основная черта, поразившая всѣхъ въ психическомъ процессѣ, раскрывавшемся въ произведеніяхъ Толстого, была—повторяю еще разъ—анализъ необыкновенно новый и смѣлый, анализъ такихъ душевныхъ движеній, которыхъ никто еще не анализировалъ. Не „пошлость пошлаго человѣка“ обличалъ Толстой, подобно Гоголю; не смѣялся онъ болѣзненнымъ смѣхомъ Гамлета Щигровскаго уѣзда надъ несостоятельностью такъ называемаго развитого человѣка, какъ Тургеневъ; не противопоставалъ онъ, какъ Писемскій, здоровый, хотя и грубоватый, хотя и нѣсколько низменный взглядъ на жизнь мишурѣ сдѣланныхъ, заказныхъ или подогрѣтыхъ чувствованій; не относился, какъ Гончаровъ, къ идеализму во имя узкой практичности, къ празднои мысли во имя узкаго и условнаго дѣла,—но вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовалось всѣми, что у него есть что-то общее со всѣми нечисленными стремленіями, что онъ—разумѣется, полусознательно, полубезсознательно, какъ всякій художественный талантъ—разрабатываетъ одну и ту же съ поименованными художниками задачу эпохи. Близкій къ Тургеневу поэтической иѣжностью чувства и глубокою симпатіей къ природѣ, но діаметрально противоположный ему своей суровой трезвостью взгляда, безошадною ко всѣмъ маломальски необыденнымъ ощущеніямъ, своею враждою ко всякой фальши, какъ бы она ни была блестяща,—онъ этими послѣдними качествами былъ бы всего ближе къ Писемскому, если бы этотъ реализмъ былъ ему *прирожденъ*, а не *порожденъ* анализомъ. Своимъ высшимъ, враждебно-недовѣрчивымъ отношеніемъ къ идеализму онъ былъ бы сходенъ съ Гончаровымъ, если бы заказнымъ образомъ поставилъ себѣ идеальникъ въ практичности. Съ другой стороны, своею безошадностью къ пошлости, таящейся не только въ пошломъ, но во всякомъ человѣкѣ, онъ какъ будто развиваетъ задачи Гоголя, но онъ не плачетъ ни о какомъ разбитомъ кумирѣ, ни о какомъ условно-прекрасномъ человѣкѣ.

Общаго у него со всѣми этими задачами эпохи одно: отрицаніе.

Отрицаніе чего?..

Да всего наноснаго, напускнаго въ нашемъ фальшивомъ развитіи. Отрицаніемъ онъ, по происхожденію и воспитанію разъединенный съ почвою, старается, какъ всѣ, дорыться до почвы, до простыхъ основъ, до первоначальныхъ слоевъ. Особенность

его въ томъ, что онъ роется глубже всѣхъ другихъ. Онъ не удовлетворяется, какъ Тургеневъ, тѣмъ, чтобы издали благоговѣнно увидѣть почву и поклониться ей въ восторгъ Моисея, узрѣвшаго обѣтованную землю. Ему (для ясности позволю себѣ сказать иримибромъ) мало того, чтобы почувствовать только черноземную силу въ Уварѣ Иванычѣ,—онъ хотѣлъ бы разгадать и въ самомъ себѣ поднять эту сидѣмъ сидящую силу. Онъ не можетъ также, смахнувши слои фальшиваго идеализма, принять, какъ Гончаровъ, за слои настоящіе—столь же наносные, но гораздо болѣе грязные слои практичности и формализма; онъ не останавливается и на тѣхъ, новидимому, прочныхъ, но въ сущности только загрубѣлыхъ слояхъ, на которыхъ твердою ногою стоитъ Писемскій; онъ также мало способенъ симпатизировать, положимъ, хоть Задоръ-Мановскому или даже Павлу Бешметеву, какъ Ельчанинову и Бахтіарову, такъ же мало тетушкѣ ипохондрика Соломонидѣ, какъ и Дурнопечину... Съ идеалами же на воздухѣ, со всякимъ созиданіемъ сверху, а не снизу, съ тѣмъ, что погубило нравственно и даже физически самого Гоголя, онъ способенъ помириться всего менѣе... Онъ только роется въглубь, добросовѣстно роется, руководимый своимъ необычайнымъ анализомъ, и, еще не дорывшись, кончаетъ пантенистическою скорбью „Люцерна“,—скорбью за жизнь и ея идеалы, отчаяніемъ за все сколько-нибудь искусственное и сдѣланное въ душѣ человѣческой, отчаяніемъ, очевиднымъ въ „Трехъ смертяхъ“, изъ которыхъ самую нормальною является смерть дуба, суровою покорностью судьбѣ, не щадящей цвѣта человѣческихъ чувствъ въ „Семейномъ счастьѣ“, и затѣмъ—анатіею, безъ сомнѣнія, временною и переходною.

Апатія ждала непремѣнно на серединѣ такого глубоко-искренняго психическаго процесса, но что она не конецъ его,—въ этомъ, вѣроятно, никто изъ вѣрующихъ въ силу таланта вообще и понявшихъ силу таланта Толстого даже и не сомнѣвается. Недавно еще такое явленіе, какъ „Мертвый домъ“, доказало намъ, что силы не умираютъ, не забиваются судьбою, а встаютъ могучѣ послѣ добровольной или принужденной инерціи.

Начало того отрицательнаго процесса, котораго Толстой является вмѣстѣ съ другими представителемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ временною жертвою, лежитъ не въ Гоголѣ, а въ Пушкинѣ. Го-

голь вмѣстѣ съ другими, хотя и глубже всѣхъ другихъ, доводилъ до извѣстныхъ граней задачи, указанные Пушкинымъ.

Говоря о Толстомъ, какъ объ одномъ изъ самыхъ значительныхъ представителей нашего отрицательнаго процесса, не минуешь нѣкотораго повторенія того, что уже нѣсколько разъ высказывалъ я о началѣ, объ исходной точкѣ этого процесса. ¹⁾

До сихъ поръ еще только въ цѣльной натурѣ Пушкина, въ ея борьбѣ съ различными тревожившими ее и пережитыми ею идеалами, заключается для насъ слово разгадки нашихъ стремленій.

Есть природы, предназначенныя на то, чтобы намѣтить заразы грани процессовъ, набросать полные и цѣльные, хотя только очерками обозначенные идеалы, и такая-то именно натура была у Пушкина. Пушкинъ все наше перечувствовалъ—отъ любви къ загнанной старинѣ до сочувствій къ реформѣ, отъ нашихъ страстныхъ увлеченій блестящими, эгонистически-обаятельными идеалами до смиреннаго служенія Савелья („Капитанская дочка“), отъ нашего разгула до нашей жажды самоуглубленія, жажды „матери-пустыни“,—и только смерть помѣшала ему воплотить наши высшія стремленія, весь духъ кротости и любви, въ просвѣтленномъ образѣ Тазита,—смерть, которая почти всегда уноситъ преждевременно набрасывателей многообъемлющаго и многосодержащаго идеала, которая унесла, напримѣръ, Рафаэля и Моцарта. Ибо есть какой-то тайный законъ, по которому недолговѣчно все разметывающееся въ ширину и коренится, какъ дубъ, односторонняя глубина.

Я говорилъ уже не разъ, что за исключеніемъ совершенно новыхъ въ литературѣ нашей явленій, имѣющихъ только общесоциологическую, преемственную связь съ Пушкинымъ, каковы со всѣми ихъ достоинствами и недостатками Кольцовъ, Островскій, Некрасовъ и Достоевскій,—въ нашей современной литературѣ нѣтъ ничего истинно-замѣчательнаго и правильнаго, что въ своемъ зародышѣ не находилось бы у Пушкина.

Такъ весь отрицательный процессъ нашъ, не исключая даже и самого Гоголя, по прямой линіи ведетъ свое начало отъ взгляда на жизнь Ивана Петровича Бѣлкина.

Многимъ господамъ, преимущественно иривыкшимъ благоговѣть

¹⁾ Напр., въ статьѣ „Взглядъ на рус. литературу со смерти Пушкина“, „Русское Слово“ 1859 г., №№ 2—3. (См. выпускъ 6-й настоящаго изданія, стр. 10 и сл.)

передъ именами и авторитетами, мысль эта, высказанная въ первый разъ, и высказанная притомъ ех abrupto, безъ надлежащей ясности, показала чудовищно-нарадоксальною. Но ко всякому чудовищу можно привыкнуть, тѣмъ болѣе, что ни за славу Гоголя, ни за славу даже новыхъ литературныхъ корифеевъ нашихъ бояться нечего.

Тинъ Ивана Петровича Бѣлкина былъ почти любимымъ типомъ поэта въ послѣднюю эпоху его дѣятельности. Какое же—спрошу я опять, но послѣ многихъ толковъ моихъ во „Времени“ спрошу настоятельнѣе—какое душевное состояніе выразилъ намъ поэтъ въ этомъ типѣ и каково его собственное душевное отношеніе къ этому типу, влѣзая въ кожу котораго, принимая жизненные воззрѣнія котораго, онъ рассказываетъ намъ множество добродушныхъ исторій, на первый разъ даже не нравящихся своимъ добродушіемъ и простотою, но въ сущности таящихъ въ себѣ задачи весьма глубокія?

Пробовали ли читатели въ лѣта своей зрѣлости перечестъ „Новѣсти Бѣлкина“, эти новѣсти, которыя въ лѣта пылкой молодости привели ихъ въ негодованіе за унадокъ таланта и силъ ибѣца Алеко и Плѣнника, новѣсти, изъ которыхъ нѣкоторыя казались имъ ужасно пустыми, какъ „Метель“, а нѣкоторыя даже водевильными, какъ „Барышня-крестьянка“. Они только въ первой изъ нихъ, въ „Сильвію“, видѣли отраженіе Пушкинскаго генія, именно потому, что здѣсь остался слѣдъ борьбы съ мучительнымъ и тревожнымъ идеаломъ. Въ „Сильвію“ дѣйствительно одинъ изъ ключей къ уразумѣнію нравственнаго процесса поэта. Но вѣдь въ другихъ-то простодушныхъ разсказахъ—если вы перечтете ихъ теперь, когда почти тридцать лѣтъ прошло съ перваго появленія ихъ на свѣтъ Божій—вы найдете en germe, въ зернѣ, и простыя изображенія простой дѣйствительности, непонятно свѣжія до сихъ поръ еще, хотя и сдѣланныя очерками (какъ „Гробовщикъ“), и симпатичность отношеній къ заглавнымъ, „униженнымъ и оскорбленнымъ“ сентиментальнаго натурализма („Станціонный смотритель“), и... мало ли что вы въ нихъ найдете! Можетъ быть, вы даже съ „Барышней-крестьянкой“ и съ „Метелью“ помиритесь?.. Вѣдь читаете же вы, напримѣръ, съ удовольствіемъ, хоть въ „Очеркахъ прошлаго“ г. А. Чужбинскаго изображеніе моншера Самограева, и признаете законность этого изображенія...

Но вѣдь въ кожѣ Бѣлкина, въ духѣ Бѣлкина, въ тонѣ Бѣлкина разсказаны еще намъ поэтомъ такіе разсказы, какъ „Дубровский“, какъ семейная хроника Гриневыхъ, эта нимало не потерявшая своей красоты и свѣжести родоначальница всѣхъ нашихъ „семейныхъ хроникъ“.

Въ типѣ Бѣлкина, который такъ полюбился нашему поэту, выразились начала нашего отрицательнаго (въ отношеніи къ нашему напряженному развитію) процесса.

Что же такое этотъ Пушкинскій Бѣлкинъ,—тотъ самый Бѣлкинъ, который проглядываетъ потомъ, подъ другими формами, въ повѣстяхъ Тургенева, которому въ произведеніяхъ Писемскаго страшно хотѣлось взять верхъ надъ фальшиво-блестящимъ и фальшиво-страстнымъ типомъ,—которому съ излишкомъ, черезъ мѣру даетъ права Толстой,—котораго нѣсколько проницески, но съ невольною симпатіею повторяетъ даже Лермонтовъ въ Максимѣ Максимычѣ?

Бѣлкинъ Пушкинскій есть простой здравый толкъ и простое здоровое чувство, кроткое и смиренное,—толкъ, вонющій противъ всякой блестящей фальши, чувство, возстающее законно на злоупотребленія нами нашей широкой способности понимать и чувствовать. Стало быть, въ сущности это начало только отрицательное, ибо предоставьте его самому себѣ,—оно способно перейти въ застои, мертвящую лѣнь, хамство Фамусова и добродушное взяточничество Юсова.

Посмотрите на этотъ отрицательный типъ у самого Пушкина вездѣ, гдѣ онъ у него самолично является или гдѣ поэтъ повѣствуетъ въ его тонѣ, съ его взглядомъ на жизнь. Зануканный страшнымъ призракомъ Сильвіо, его мрачной сосредоточенностью въ одномъ дѣлѣ, въ одной метительной мысли, онъ еще не сомнѣвается въ томъ, что Сильвіо *можетъ* существовать. Онъ знаетъ только, что онъ самъ вовсе не Сильвіо, и боится этого типа. „Нѣтъ ужъ,—говоритъ онъ,—лучше пойду я къ людямъ попроще!“ и первый опускается въ простые, такъ называемые низменные слои жизни...

Читатели помнятъ, вѣроятно, мѣсто въ отрывкахъ главы, не вошедшей въ поэму Онѣгина и нѣкогда предназначавшейся поэтомъ на то, чтобы привести существованіе Онѣгина въ многообразныя столкновенія съ русской жизнью и почвою (какъ свидѣтельствуютъ уцѣлѣвшія строфы), привести эту праздную, тяготящуюся со-

бою жизнь на разные очные ставки съ дѣятельною, сурово-хлopotливою, дѣйствительною жизнью. Эти отрывки, хотя они и отрывки, въ высшей степени знаменательны для уразумѣнія нашего отрицательнаго процесса.

Въ этихъ отрывочныхъ строфахъ Онѣгинъ является для насъ съ совершенно новой стороны, какъ личность, которой, несмотря на всю бурно-прожитую, тревожную жизнь, все-таки некуда дѣвать своихъ силъ, своего здоровья, своей жизненности.

Зачѣмъ, какъ тульскій засѣдатель,
Я не лежу въ параличѣ?
Зачѣмъ не чувствую въ плечѣ
Хоть ревматизма? Ахъ, Создатель!
Я молодъ, жизнь во мнѣ крѣпка...
Чего мнѣ ждать? Тоска, тоска!

И, разумѣется, тоскою о томъ, что много еще силъ, много еще здоровья и крѣпости жизни, долженъ былъ кончить Онѣгинъ, какъ отраженіе извѣтнаго момента нашего нравственнаго процесса; но не тоскою только, а поворотомъ къ почвѣ кончаетъ живая многообъемлющая натура самого поэта.

Порой дождливою намедни
Я завернулъ на скотный дворъ...
Тьфу! прозаическія бредни,
Фламандской школы пестрый соръ!
Таковъ ли былъ я, расцвѣтая?
Скажи, фонтанъ Бахчисарая,
Такія ль мысли мнѣ на умъ
Навелъ твой безконечный шумъ?

Эта выходка поэта — не столько негодованіе на прозаизмъ и мелочность окружающей его жизненной обстановки, сколько невольное сознаніе того, что этотъ прозаизмъ имѣетъ неотъемлемыя права надъ душою, что онъ въ душѣ остался, какъ отсадокъ, послѣ всего кипучаго броженія, послѣ всѣхъ напряженій и тщетныхъ попытокъ окаменѣть въ Байроновскихъ формахъ. И тщета этой борьбы съ собственною душою, и негодованіе на то, что послѣ борьбы остался такой отсадокъ, негодованіе, подъ которымъ кроется уже любовь къ почвѣ, одинаково знаменательны:

Какія бь чувства ни таились
Тогда во мнѣ,— теперь ихъ пѣть:
Они прошли пль измѣнились...
Миръ вамъ, тревоги прошлыхъ лѣтъ!

Въ ту пору мнѣ казались нужны
Пустыни, водъ края жемчужны,
И моря шумъ, и груды скалъ,
И гордой дѣвы идеаль,
И безъименныя страданья...
Другіе дни, другіе сны!..
Смирились вы, моей весны
Высокопарныя мечтанья,
И въ поэтической бокаль
Воды я много подмѣшалъ...
*Иныя нужны мнѣ картины:
Люблю песчаный косогоръ,
Передъ избушкой двѣ рябины,
Калитку, сломанный заборъ,
На небѣ стѣренкія тучи,
Передъ гумномъ соломы кучи,
Да прудъ подъ стѣнью изъ пустыаь,
Раздолье утокъ молодыхъ...
Теперь милый мнѣ балалайка,
Да пьяный топотъ тренака
Передъ порогомъ кабака;
Мой идеаль теперь хозляйка,
Мои желанія — покой,
Да щей горшокъ, да самъ большой.*

Поразительна эта простодушнѣйшая смѣсь ощущеній самыхъ разнородныхъ, — негодованія и желанія набросить на картину колоритъ самый сѣрый, съ невольной любовью къ картинѣ, съ чувствомъ ея особенной, самобытной красоты... Это чувство—наше родное, такъ сказать, наше типовое чувство... Оно только что очнулось отъ тревожно-лихорадочнаго сна, только-что вырвалось изъ кипящаго, страшнымъ броженіемъ омута. Оно оглядывается на Божій свѣтъ, встряхиваетъ кудрями, чувствуетъ, что все вокругъ его то же, такое же, какъ было до сна; чувствуетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что и само оно то же, такое же, какимъ было до борьбы съ призраками, и юношески недовольно тѣмъ, что оно свѣжо и молодо послѣ всѣхъ схватокъ съ подводными чудовищами...

Но, кружась въ водоворотѣ этого омута, наше сознаніе видѣло такіе сны, и образы сновъ такъ ясно въ немъ отпечатлѣлись, что въ призрачной борьбѣ съ ними, мѣрятся съ ними, оно ощутило въ себѣ силы необъятныя... Какъ же это оно такъ молодо, здорово, испытавши столько, и какъ же, испытавши столько, оно опять видитъ передъ собою прежнюю обстановку? Вѣдь въ борь-

бѣ, хотя и призрачной, оно узнало само себя, узнало, что не только эту бѣдную и обиденную обстановку можетъ воспринять и усвоить, по и всякую другую, какъ бы эта другая ни была сложна, широка и великолѣпна. Пусть на первый разъ оно разъяснило себя въ чужой обстановкѣ, т.-е. пусть на первый разъ мѣра силы познана въ примѣркѣ къ чужому, для нея призрачному — да сила-то ужъ сама себя знаетъ, и знаетъ, кромѣ того, что ей мала, бѣдна и узка обиденная обстановка дѣйствительности.

А между тѣмъ и въ самомъ круженіи, въ самой борьбѣ съ призрачнымъ, чуждымъ міромъ, силы чувствовали минутные припадки непонятнаго влеченія къ этой самой, повидимому, столь узкой и скудной обстановкѣ, къ своей собственной почвѣ.

Негодованіе силъ, извѣдавшихъ уже „доброе и злое“, выразившись у Пушкина въ вышеприведенныхъ строфахъ, еще сильнѣй сказалось въ стихотвореніи, которое самъ онъ называлъ „Каиринзомъ“:

Румяный критикъ мой, насмѣшникъ толстопузый... и проч.

но не осталось только негодованіемъ, а перешло въ серьезную думу мужа о своихъ отношеніяхъ къ міру призрачному и къ міру дѣйствительному...

Въ тѣ дни, когда муза, по словамъ его, услаждала ему

путь нѣмой
Волшебствомъ тайнаго разказа,

когда... Но пусть лучше говоритъ онъ самъ:

Какъ часто по скаламъ Кавказа
Она Ленорой при лунѣ
Со мпой скакала на конѣ...
Какъ часто по брегамъ Тавриды
Она меня во мглѣ ночной
Водила слушать шумъ морской,
Немолчный шопоть Нереиды,
Глубокій, вѣчный хоръ валовъ,
Хвалебный гимнъ отцу міровъ,—

въ эти дни молодого и кипучаго вдохновенія великая натура мѣряла свои силы со всѣмъ великимъ, что уже она встрѣчала данымъ и готовымъ, подвергаясь равномѣрно влиянію и свѣтлыхъ и темныхъ его сторонъ...

Оказалось, что на „вся добрая и злая“ у нея есть удивительная воспримчивость и отзывчивость; что притомъ эта воспримчивость и эта отзывчивость не могутъ остановиться на среднемъ пути, а ведутъ всякое сочувствіе до крайнихъ его предѣловъ, и что, наконецъ, натура все-таки не можетъ перестать любить своего типового, не можетъ не стремиться къ нему, не можетъ забыть своей почвы. Это стремленіе скажется то радостью „замѣтить разность“ между Онѣггинымъ и собою, то мечтою о поэмѣ „пѣсенъ въ двадцать пять“, въ которой, какъ говоритъ поэтъ:

Не муки тайныя злодѣйства
Я грозно въ ней изображу,
А просто вамъ перескажу
Преданья русскаго семейства;

въ которой мечтаетъ онъ пересказать

простыя рѣчи
Отца или дяди старика,
Дѣтей условленные встрѣчи
У старыхъ липъ, у ручейка...

Мало ли чѣмъ, наконецъ, скажется это стремленіе къ почвѣ!.. записываніемъ сказокъ старой няни или анекдотовъ о старинѣ, гордостью родовыхъ преданій — въ противоположность бюрократическому чванству, совѣтомъ учиться русскому языку у московскихъ просвиренъ...

И вотъ, когда поэтъ, въ эпоху зрѣлости самосознанія, привелъ для самого себя въ очевидность всѣ эти, повидимому, совершенно противоположныя стремленія собственной своей природы, то прежде всего и паче всего правдивый и искренній, онъ умалилъ, принизилъ самого себя, когда-то „Плѣнника“, у котораго

на челѣ его высокою
Не измѣнилось ничего,

когда-то „Алеко“, который говоритъ про себя:

Я не таковъ... нѣтъ! я, не споря,
Отъ правъ своихъ не откажусь, и проч.

до смиреннаго образа Ивана Петровича Бѣлкина...

Въ этомъ типѣ узаконилось — но только на время, только отрицательно, какъ критическій отсадокъ — стремленіе къ почвѣ, поворотъ къ ея требованіямъ. Въ этотъ образъ вошла далеко не вся великая личность поэта, ибо Пушкинитъ вовсе не думалъ отрече-

катся отъ прежнихъ своихъ сочувствій или считать ихъ противозаконными, какъ это иногда готовы дѣлать мы въ порывахъ усердія къ почвѣ. Да и трудно, конечно, представить себѣ дѣйствительно Ивановъ Петровичемъ Бѣлкинымъ натуру, которая и прежде мѣрялась, да и нотомъ не переставала мѣряться своими силами съ самыми могучими тинами, ибо въ то же самое время гений поэта проникалъ въ мрачно-сосредоточенную душу Сальери и въ вѣчно-жаждущую жизни натуру Донъ-Жуана, стало быть, вовсе не замыкался исключительно въ существованіе Бѣлкина.

Бѣлкинъ для Пушкина вовсе не герой его, а больше ничего, какъ критическая сторона души. Мы были бы народъ весьма не щедро надѣленный природою, если бы героями нашими были Пушкинскій Бѣлкинъ, Лермонтовскій Максимъ Максимычъ и даже честный кавказскій канитанъ въ „Рубкѣ лѣса“ Толстого. Значеніе всѣхъ этихъ лицъ въ томъ, что они—критическіе контрасты блестящаго и, такъ сказать, хищнаго тина, котораго величіе оказалось на нашу душевную мѣрку несостоятельнымъ, а блескъ фальшивымъ. Значеніе ихъ, кромѣ того, въ протестъ,— протестъ всего смиреннаго, загнаннаго, но между тѣмъ основаннаго на почвѣ въ нашей природѣ— противъ гордыхъ и страстныхъ до необузданности началъ, противъ широкаго размаха силъ, оторвавшихся отъ связи съ почвою.

Придать этой сторонѣ души нашей значеніе исключительное, героическое—значить впасть въ другую крайность, ведущую къ застою и загниен. Максимъ Максимычъ и канитанъ Толстого, конечно, люди очень честные и безъ всякой похвальбы храбрые; они нисколько не рисуются, нисколько не натягиваютъ своей простой природы на сильныя страсти и глубокія страданія,—но вѣдь согласитесь, что съ ними немислима никакая исторія. Изъ нихъ не выйдутъ, конечно, Стеньки Разины, да зато не выйдутъ и Минины. Увы! на однихъ добрыхъ и смиренныхъ людяхъ, умѣй они даже и умирать такъ, какъ умираетъ солдатъ Веленчукъ у Толстого ¹⁾, будь они благодущны до пантеистической любви ко всей твари, какъ старикъ Агаонъ у Островскаго ²⁾,—далеко не уѣдешь. Для жизни страстное начало нужно, закваска нужна.

Глубоко понималъ это гениальнымъ чутьемъ своимъ Пушкинъ,

¹⁾ Въ разказѣ „Рубка лѣса“.

²⁾ Въ драмѣ: „Не такъ живи, какъ хочется“.

и потому до сихъ поръ даже, послѣ Максима Максимыча, къ которому самъ Лермонтовъ относится, впрочемъ, съ ироніею, послѣ однодворца Савелья Писемскаго, послѣ капитана Храброва Толстого—его Бѣлкинъ все-таки единственно правильное узаконеніе критической стороны нашей души...

Съ тою жизнью попроще, въ которую спускается онъ, ошеломленный страшнымъ призракомъ Сильвіо, онъ вѣдь тоже разобщенъ кой-какимъ образованіемъ, ну, хоть „письмовникомъ“ Курганова, а главное—онъ уже смотритъ на нее съ высоты кой-какого образованія.

Комизмъ положенія чловѣка, который считаетъ себя *обязаннымъ* по своему кой-какому образованію смотрѣть, какъ на что-то ему чужое, на то, съ чѣмъ у него несравненно болѣе общаго, чѣмъ съ пріобрѣтенными кой-какъ верхушками образованности, является необыкновенно ярко въ Бѣлкинѣ, какъ авторъ „Лѣтописи села Горохина“. Эта лѣтопись—тончайшая и вмѣстѣ добродушнѣйше-поэтическая насмѣшка надъ цѣлою, вѣковой полосою нашего развитія, надъ всею нашею поверхностною образованностью бывалыхъ временъ, сообщавшей намъ взглядъ, совершенно не приложимый къ явленіямъ окружавшей и доселѣ насъ окружающей дѣйствительности... Въ этомъ наивномъ лѣтописцѣ села Горохина лукаво притаились всѣ наши бывалые взгляды на нашъ бытъ и нашу старину, выражавшіеся то стихами въ родѣ:

Россійскіе князья, бояре, воеводы,
Пришедшіе чрезъ Донъ отыскивать свободы...

то Карамзинскими фразами, какъ, папримѣръ: „Ярославъ пріѣхалъ господствовать надъ трупами“ или: „отселѣ исторія наша пріемлетъ достоинство истинно-государственной“ и проч., и проч.

Но вѣдь мало того, что въ этомъ легкомъ очеркѣ, въ этихъ немногихъ гениальныхъ страницахъ бездна лукавой и безпощадной ироніи: въ нихъ есть нѣчто высшее ироніи. Откуда въ немъ, въ этомъ Бѣлкинѣ, который считаетъ своею *обязанностью* писать съ важностью классическихъ историковъ о странѣ, именуемой Горохинымъ, и *живописуетъ* вычурнымъ слогомъ нравы ея обитателей,—откуда въ немъ такое удивительное знаніе этихъ нравовъ и такое любовное и вмѣстѣ совершенно-правильное къ нимъ отношеніе?

Типъ простаго и смирнаго человѣка, впервые художественно выдвинутый на сцену Пушкинымъ въ лицѣ его Бѣлкина, съ тѣхъ поръ подѣ различными формами является въ нашей литературѣ: то въ лицѣ простаго, тоже смирнаго, но храбраго и честнаго, хотя нѣсколько ограниченнаго по натурѣ человѣка, каковъ Максимъ Максимычъ Лермонтова; то въ лицѣ загнаннаго судьбою человѣка, который постоянно пасуетъ передъ хищнымъ и блестящимъ типомъ—у Тургенева; то въ лицѣ простаго же, но страстнаго человѣка, надѣленнаго сильной, но неразвитой природою, который тоже пасуетъ въ жизни передъ виѣшне-блестящимъ, но внутренне-пустымъ тиномъ—у Писемскаго; то въ лицѣ человѣка, наконецъ, котораго глубокой анализъ довелъ до сознанія исключительной законности типа простаго человѣка предъ блестящимъ, но постоянно поднимающимся на моральныя ходули типомъ, до невѣрія даже въ возможность реального бытія такого ходульнаго типа,—какъ у Толстого. Пушкинскій Бѣлкинъ еще вѣрить въ существованіе мрачнаго, сосредоточеннаго Сильвіо; Лермонтовъ еще только иронически сочувствуетъ своему Максиму Максимычу и, къ сожалѣнію, *еще* вѣрить въ своего Печорина; Тургеневъ, сочувствуя глубоко и болѣзненно своему загнанному человѣку, не только вѣрить въ блестящіе и страстные типы, но и самъ ими увлекается; Писемскій явно негодуетъ на торжество фальшиво-блестящаго надъ простымъ и безыскусственнымъ. Толстой анализируетъ и анализомъ доходитъ до положительнаго невѣрія во всякое сколько-нибудь *природнаго* чувство. Между тѣмъ его невѣріе—не прозаизмъ, нѣсколько грубоватый, Писемскаго и, съ другой стороны, не та искусственная практичность, которая заставляетъ Гончарова предпочесть Штольца романтику Обломову. Невѣріе Толстого—результатъ глубокаго анализа, часто доходящаго до крайностей, часто разбивающаго свои собственныя основы, но никогда почти не увлекающагося извѣстными сочувствіями и антипатіями.

Прежде чѣмъ разъяснить значеніе анализа Толстого, я долженъ предупредить вопросъ о томъ, почему, исчисляя различныя отношенія нашихъ писателей къ двумъ типамъ, я не сказалъ ни слова о ярко-замѣчательномъ отношеніи къ нимъ Островскаго и Ф. Достоевскаго? То и другое отношеніе, какъ это будетъ объяснено въ свое время и въ своемъ мѣстѣ, совершенно оригинально. Въ идеалахъ чуждой намъ жизни искали Пушкинъ и Тургеневъ бле-

стящихъ тиновъ; въ глубинѣ народной жизни ищутъ какъ Островскій, такъ и Достоевскій,—и широкихъ типовъ, какъ, на примѣръ, тинь Петра Ильича и многія изъ лицъ „Мертваго дома“, такъ равно и смиренныхъ. Смирные ихъ типы нельзя назвать, въ противоположность типамъ широкимъ, простыми, потому что и широкіе ихъ типы взяты изъ народной жизни.

Сдѣлавши эту необходимую оговорку, возвращаюсь къ Толстому и значенію его анализа.

Анализъ Толстого дошелъ до глубочайшаго невѣрія во всѣ „приподнятыя“, „необыденныя“ чувства души человѣческой. Въ этомъ его высокое значеніе, въ этомъ же и его односторонность. Анализъ разбилъ готовые, сложившіеся, *отчасти* чужіе намъ идеалы силы, страсти, энергіи. Въ русской жизни онъ, какъ и всѣ видятъ,—выдвинулъ только отрицательный тинь простого и смирнаго человѣка—и привязался къ нему всей душою. Вездѣ слѣдитъ онъ идеаль простоты душевныхъ движеній: въ горести няни (въ „Дѣтствѣ и Отрочествѣ“) о смерти матери героя, — горести, противопоставляемой имъ нѣсколько эффектной, хотя и глубокой скорби старой графини; въ смерти солдата Веленчука, въ честной и простой храбрости капитана Храброва, явно превосходящей въ его глазахъ несомнѣнную же, но крайне эффектную храбрость одного изъ кавказскихъ героев à la Марлинскій; въ покорной смерти простого человѣка, противопоставленной смерти страдающей, но капризно страдающей барыни... Но, во-первыхъ, несмотря на всю свою глубокую искренность, можетъ быть, именно вслѣдствіе задачи, поставленной въ искренности анализа, Толстой иногда и пересаливаетъ въ своей строгости къ „приподнятымъ“ чувствамъ. Не многіе, на примѣръ, будутъ съ нимъ согласны насчетъ ббльшей глубины горя няни передъ горемъ старухи-графини. Во-вторыхъ, этотъ анализъ, дошедшій до любви къ смирному типу, преимущественно по невѣрію въ блестящій и хищный тинь, въ концѣ-концовъ, не опираясь на почву, дающую оба типа, ведетъ къ какому-то пантеистическому отчаянію, очевидному въ „Люцернѣ“, „Альбертѣ“ и выразившемуся еще прежде въ „Запискахъ маркера“. Въ-третьихъ, наконецъ, этотъ анализъ обращается въ какой-то безсодержательный, въ анализъ анализа, своею безсодержательностью приводящій къ скептицизму и къ подрыву всякихъ душевныхъ чувствъ. Ключъ къ концамъ этого анализа—это смерть дуба въ „Трехъ смертяхъ“, —смерть, поставленная сознаніемъ выше

смерти не только развитой барыни, но и выше смерти простого человѣка. Вѣдь отсюда одинъ шагъ къ нигилизму.

Правъ этотъ анализъ собственно только въ казни, безощадно совершаемой имъ надъ всѣмъ фальшивымъ, чисто сдѣланнымъ въ ощущеніяхъ современнаго человѣка, которыя Лермонтовъ сусѣбно обоготворилъ въ своемъ Печоринѣ. А правъ онъ вотъ почему.

Въ стремленіи къ идеалу или на пути духовнаго совершенствованія, всякаго стремящагося ожидаютъ два подводныхъ камня: отчаяніе отъ сознанія своего собственнаго несовершенства, изъ котораго есть еще выходъ, и неправильное, не прямое отношеніе къ своему несовершенству, которое почти совершенно безвыходно. Что человѣку непріятно и тяжело сознать свои слабыя стороны, это, конечно, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію; задача здѣсь заключается преимущественно въ томъ, чтобы къ этимъ слабымъ сторонамъ своимъ отнестись съ полною, безощадною справедливостію. Самое обыкновенное искушеніе въ этомъ случаѣ — уменьшить въ собственныхъ глазахъ свои недостатки. Но есть искушеніе несравненно болѣе тонкое и опасное, именно — преувеличить свои слабости до той степени, на которой онѣ получаютъ извѣстную значимость и, пожалуй даже, по извращеннымъ понятіямъ современнаго человѣка, величавость и обаятельность зла. Мысль эта станетъ совершенно понятна, если я напомню обаятельную атмосферу, которая разлита вокругъ образовъ — не говорю уже Манфреда, Лары, Гяура, — но Печорина и Ловласа, психологическій фактъ, весьма нерѣдкій съ тѣхъ поръ, какъ

Британской музы небыллицы
Тревожатъ сонъ отроковицы...

Возьмите какую угодно страсть и доведите ее въ вашемъ представленіи до извѣстной степени энергіи, поставьте ее въ борьбу съ окружающею ее обстановкою, — ваше трагическое воззрѣніе закроетъ отъ васъ всѣ мелкія пружины ея дѣятельности. Эгоизму современнаго человѣка несравненно легче помириться въ себѣ съ крупнымъ преступленіемъ, чѣмъ съ мелкой и пошлой подлостью; гораздо пріятнѣе вообразить себя Ловласомъ, чѣмъ Гоголевскимъ Собачкинымъ, Скуиымъ рыцаремъ, чѣмъ Плюшкинымъ, Печоринимъ, чѣмъ Меричемъ; даже ужъ если на то пошло, Грушницкимъ, чѣмъ Милашинымъ Островскаго, потому что Грушницкій хоть умираетъ эффектно! Сколько лягушекъ надуваются по этому

случаю въ воловъ, въ насъ самихъ и вокругъ насъ! Сколько людей *желаютъ* показаться себѣ и другимъ *преступными*, когда они сдѣлали только *пошлость*! Сколько гаденькихъ чувственныхъ по-ползновеній стремятся принять въ насъ размѣры колоссальныхъ страстей! Хлестаковъ, даже Хлестаковъ, и тотъ зоветъ городничиху „удалиться подъ сѣнь струй“! Меричъ въ „Бѣдной невѣстѣ“ самодовольно проситъ Марью Андреевну простить его, что онъ „возмутилъ міръ ея невинной души“! Тамаринъ радъ радехонекъ, что его зовутъ демономъ!

Такимъ образомъ, даже и по наступленіи той минуты, съ которой въ натурѣ нравственной должно начаться правильное, т.-е. комическое отношеніе къ собственной мелочности и слабости, гордость вмѣсто прямого поворота предлагаетъ намъ изворотъ. Изворотъ же заключается въ томъ, чтобы поставить на ходули безсильную страстность души, признать ея требованія все-таки правыми; переживши минуты презрѣнія къ самому себѣ и къ своей личности, сохранить, однако, вражду и презрѣніе къ дѣйствительности.

Вотъ въ казни этого-то психическаго изворота и правъ вполне анализъ Толстого, правѣ, чѣмъ анализъ Тургенева, иногда и даже нерѣдко кадящій нашимъ фальшивымъ сторонамъ, и съ другой стороны, правѣ, чѣмъ анализъ Гончарова, ибо казнить во имя глубокой любви къ правдѣ и искренности ощущеній, а не во имя узкой, бюрократической практичности; правѣ и анализа Писемскаго, ибо онъ знаетъ глубоко, знаетъ, какъ Лермонтовъ, современнаго человѣка, Писемскій же рисуетъ его болѣе по наслышкѣ и по наглядкѣ и потому часто не достигаетъ своей цѣли, утрируя его иногда до карикатурности.

Неправъ же анализъ Толстого не только по вышеизложеннымъ причинамъ и не только потому, что не опирается на народную почву, но еще и потому, что не придаетъ значенія блестящему *дѣйствительно*, и страстному *дѣйствительно*, и хищному *дѣйстви-тельно* типу, который и въ природѣ, и въ исторіи имѣетъ свое оправданіе, т.-е. оправданіе своей возможности и реальности.

Не только мы были бы народъ весьма не щедро одаренный природою, если бы мы видѣли свои идеалы въ однихъ смиренныхъ типахъ—будь это Максимъ Максимычъ или капитанъ Храбровъ, даже и смиренные типы Островскаго, — но пережитые нами съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ типы—чужіе намъ только отчасти,

только, можетъ быть, по своимъ формамъ и по своему, такъ сказать, лоску. Пережиты они нами потому собственно, что къ воспринятію ихъ наша природа столь же способна, какъ и всякая европейская. Не говоря уже о томъ, что у насъ въ исторіи были хищные типы, и не говоря о томъ, что Стеньку Разина изъ міра эпическихъ сказаній народа не выживешь,—нѣтъ, самые въ чуждой намъ жизни сложившіеся типы не чужды намъ и у нашихъ поэтовъ облекались въ своеобразныя формы. Въдѣ Тургеневскій Васплій Лучиновъ—XVIII вѣкъ, но *русскій* XVIII вѣкъ, а ужъ сего, напримѣръ, страстный и беззаботно-прожигающій жизнь Веретьевъ—и подавно.

Стремленіе Пушкина къ блестящимъ, хотя, повидимому, чуждымъ намъ идеаламъ, имѣетъ глубокія причины въ свойствахъ самой русской натуры. Потому-то, влѣзая въ кожу Бѣлкина, онъ все-таки не переставалъ быть ни Алеко, ни Донъ-Жуаномъ, хотя Толстой едва ли повѣритъ, напримѣръ, жаждѣ мщенія, выражающейся въ извѣстной тирадѣ Алеко:

Я не таковъ... нѣтъ! я, не споря,
Отъ правъ моихъ не откажусь—и проч.

И Толстой будетъ правъ, какъ правъ и Писемскій, карикатурно-зло, но вѣрно изображая Батманова и Хазарова, „драпирующагося плащомъ Ромео“, но правъ только по отношенію къ народѣ на типъ страстнаго и сильнаго духомъ человѣка, а не по отношенію къ самому типу. Тѣмъ менѣе правы они будутъ, если русской натурѣ припишутъ только одинъ идеаль „смирнаго“ человѣка.

Въ русской натурѣ вообще заключается едва ли не одинаковое, едва ли не равномѣрное богатство силъ, какъ положительныхъ, такъ и отрицательныхъ.

Нещадно смѣясь надъ всѣмъ, что несообразно съ нашей душевной мѣрой, хотя бы безобразіе несообразности, чудовищное или комическое, явилось даже въ томъ, что мы любимъ и уважаемъ, мы ведемъ всякое отрицаніе лжи до его крайнихъ предѣловъ, ни передъ чѣмъ не останавливаясь и ничѣмъ не смущаясь. Этимъ мы отличаемся отъ другихъ народовъ, въ особенности отъ нѣмцевъ, совершенно неспособныхъ къ комизму и весьма непослѣдовательныхъ въ своемъ хотя и смѣломъ отрицаніи, въ принципахъ. Сомнѣнія нѣтъ, что, посмѣявшись надъ филистер-

ствомъ какого-либо знаменитаго ученаго, вы впадете въ глазахъ нѣмца въ *crimen laesae majestatis*; и извѣстно вамъ также, что великій учитель, подорвавшій своимъ змѣеобразнымъ положеніемъ всякія формы, остановился въ умиленіи передъ формами прусскаго государства—и это вовсе не изъ политическаго благо-разумія, а просто потому, что былъ нѣмецъ.

Съ другой стороны, мы столь же мало способны къ строгой, однообразной чинности, кладущей на все уровень внѣшняго порядка и составной цѣльности; съ утопіями формализма, каковы бы онѣ ни были—утопія ли бюрократовъ, или утопія фурьеристовъ, казарма или фаланстера, мы не миримся.

Любя *праздники* и нерѣдко цѣлую жизнь прожигая въ праздншатательствѣ и круженіи, мы не можемъ мѣшать дѣлу съ бездѣльемъ и, дѣлая дѣло, сладострастно наслаждаться мыслью о приготовленіи себѣ посредствомъ его извѣстной *порции* законнаго бездѣлья. Этимъ мы опять-таки въ значительной степени разнимся отъ нѣмцевъ. Мы можемъ ничего не дѣлать, но не можемъ на дѣло смотрѣть, какъ на *prolegomena* къ вздору. Одинъ изъ типическихъ героевъ нашихъ, Чацкій, говоритъ правду:

Когда дѣла —я отъ веселій прячусь,

Когда дурачиться — дурачусь...

А смѣшивать два эти ремесла

Есть тьма охотниковъ,—я не изъ ихъ числа.

Съ другой стороны, мы не можемъ помириться съ вѣчной суетней и толкотней общественно-будничной жизни, не можемъ посреди ея заглушить въ себѣ тревожнаго голоса своихъ высшихъ духовныхъ интересовъ, но зато, скоро уставая бороться во имя ихъ съ будничною дѣйствительностью, выдаемъ нерѣдко въ хандру.

Таковы нѣкоторыя, довольно неоспоримыя, кажется, черты нашей—скажемъ безъ ложнаго смиренія—богатой стихійной природы,—черты, свидѣтельствующія о ея тревожныхъ, порывающихъ въ широкую даль началахъ. О нашихъ качествахъ смиренія, непамятозлобія и проч. я не говорю. Они давно признаны всѣми, хотя безъ всякой мѣры, до пересолу славянофилами, не видящими комической стороны нашего смиренія въ смиреніи Фамусова и таковой же стороны нашего непамятозлобія въ дешевыхъ примиреніяхъ „передъ порогомъ кабака“. На этихъ однихъ, хотя и дѣйствительно прекрасныхъ качествахъ мы бы далеко не уѣхали.

И такъ они немало намъ повредили своимъ одностороннимъ преобладаніемъ! Доселѣ еще мы можемъ любоваться ихъ одностороннимъ иреобладаніемъ въ мірѣ драмъ Островскаго—въ покорности домочадцевъ передъ Китомъ Китычемъ, въ ёрническомъ раболѣиши передъ Самсономъ Силычемъ Лазаря Подхалюзина, въ дешёвомъ непамятзлобіи, основанномъ на сознаніи общественной безнравственности, Антина Антииыча и того, кого онъ „помазаль“ насчетъ товара.

Да будетъ далека отъ читателя мысль, чтобы я смѣялся надъ этими сами по себѣ святыми пачалами, чтобы, наиримѣрь, весь міръ, изображаемый Островскимъ, этотъ міръ коренной и отчасти застывшій безъ развитія въ своихъ коренныхъ пачалахъ, но зато сохранившій упорно свои самостоятельныя начала,—чтобы этотъ міръ, за поклоненіе которому я подвергаюсь истояннымъ укорамъ достопочтенныхъ „Отечественныхъ Записокъ“, я считаль „темнымъ царствомъ“ весь, всецѣло—съ его величавыми натріархами, каковы Русаковъ, несмотря на его нѣкоторое резонерство, и отецъ Петра Ильича, несмотря на его расколыническую жесткость; съ его широкими и вмѣстѣ благодушными личностями въ родѣ Бородкина и Кабанова, который душою выше своего положенія; съ его женщинами—отъ Любви Гордѣевны до страстнаго типа Катерины и идеально-религіознаго типа Марѣы Борисовны, благодушной и свѣтлой до того, что она готова лгать при всей чистотѣ своей, чтобы только не обидѣть „хорошаго челоувѣка“; съ его, накопецъ, мужами энергіи и борьбы—отъ падшей, но великой натуры Любима Торцова, не знающей, куда дѣвать свою силу, натуры Петра Ильича, до мужа-борца, доходящаго до религіозныхъ экстазовъ, но практически и вмѣстѣ героически кабалящаго народъ ради земскаго дѣла ¹⁾. Нѣтъ, это слишкомъ многообразный, какъ жизнь вообще, и свѣтлый и темный вмѣстѣ міръ. Но вѣдь въ немъ не одни же наши смирныя свойства развиваются, и въ немъ же очевидны печальныя послѣдствія односторонняго развитія этихъ свойствъ.

Въ немъ есть и другія норывающія, тревожныя свойства, что, какъ уже замѣчено, составляетъ богатство нашей природы.

¹⁾ Подразумѣвается, конечно, фигура Козьмы Минина въ только что напечатанной („Современникъ“, 1862 г., № 1) драматической хроникѣ Островскаго,

Пока эта природа съ ея богатыми стихійными началами и съ безопащнымъ здравымъ смысломъ живетъ еще сама въ себѣ, т.-е. живетъ бессознательно, безъ столкновенія съ другими живыми организмами, какъ то было до Петровской реформы,—она еще спокойно вѣрится въ свою стихійную жизнь, еще не разлагаетъ своихъ стихійныхъ началъ. Сложившійся тинъ еще крѣпокъ. Еще онъ всецѣло поддерживается „Домостроемъ“ по па Сильвестра. Вы нисколько не возмутитесь тѣмъ, что, напримѣръ, посланникъ Алексѣя Михайловича во Франціи, Потемкинъ, оскорбленный откупщикомъ „маршалка де-Граммона“, хотѣвшаго взять пошлину съ окладовъ св. иконъ, ругаетъ его „врагомъ креста Христова и исомъ несытымъ“ и знать не хочетъ, что откупицкъ просто-напросто дѣйствуетъ на основаніи *своихъ* правъ. Вы не возмущаетесь и тѣмъ, что въ другую, еще только внѣшне-породнившуюся съ западнымъ развитіемъ эпоху, Денису Фонвизину въ варшавскомъ театрѣ звуки польскаго языка кажутся *подлыми*, и скорѣе восхищаетесь злой оригинальностью его замѣчанія, въ родѣ того, что „разсудка французъ не имѣетъ, да и имѣть его ночель бы за величайшее несчастье“. Всѣ эти черты стараго, крѣпкаго, еще мало возмущеннаго въ коренныхъ своихъ основахъ типа вамъ не только понятны, по даже и любезны...

И вдругъ этотъ вѣками сложенный типъ, эта богатая, но еще нетронутая стихійная природа поставлена—и поставлена уже не случайно, не на время, а навсегда—въ столкновеніе съ иною, до-толѣ чуждою ей жизнью, съ иными, столь же крѣико, но роскошно и полно сложившимися идеалами. Пусть на первый разъ она, какъ Фонвизинъ, отнеслась къ этимъ чуждымъ ей типамъ только критически... Неминуемо долженъ совершиться другой процессъ.

Тронутыя съ мѣста стихійныя начала встаютъ какъ морскія волны, иднятыя бурей; начинается страшная ломка, выворачивается вся внутренняя, бездонная пропасть.

Оказывается—какъ только разложился старый, исключительный тинъ,—что у насъ есть сочувствіе ко всѣмъ идеаламъ, т.-е. существуютъ стихіи для созданія многообразныхъ идеаловъ. Сущность наша—типовая мѣра, душевная единица—разложилась, и на первый разъ дѣйствуютъ только многообразныя силы, страшныя, дикія, необузданныя. Каждая изъ этихъ силъ хочетъ сдѣлаться центромъ души, и, пожалуй, могла бы, если бы не было другой,

третьей, многихъ, равно просящихъ работы, равно зиждательныхъ и, пожалуй, равно разрушительныхъ, и если бы, кромѣ того, въ ней самой, въ этой силѣ, какъ и во всѣхъ другихъ, не заключалась равномѣрная отрицательная сторона, неумолимо указывающая на всѣ неправильныя, чудовищныя или смѣшныя уклоненія, противныя типовой душевной мѣрѣ,—мѣрѣ, которая все-таки лежитъ на днѣ бурнаго процесса.

Способность силъ доходить до крайнихъ предѣловъ, соединенная съ типовой, болѣзненно-критическою отрыжкою, порождаетъ состояніе страшной борьбы. Въ этой борьбѣ неминуемо закруживаются натуры могущественныя, но не гармоническія. Такая борьба—періодъ нашего русскаго романтизма.

Наши великіе умы, бывшіе доселѣ, рѣшительно представляются съ этой точки могучими заклинателями страшныхъ силъ, пробуящими во всѣхъ направленіяхъ служебную дѣятельность стихій, но забывающими порою, что нельзя совершенно выпустить на свободу эти грозныя порожденія бездны. Стоить только стихіи вырваться изъ центра на периферію, чтобы, по общему закону организмовъ, она стала обособляться, сосредоточиваться около собственнаго центра и, наконецъ, получила цѣльное, реальное бытіе.

И тогда горе заклинателю, который выпустилъ ее изъ центра, и это горе неминуемо ждетъ всякаго заклинателя, поскольку онъ человѣкъ... Пушкина скосила отдѣлившаяся отъ него стихія Алеко; Лермонтова—тотъ страшный образъ, который сіялъ передъ нимъ, „какъ царь нѣмой и гордый“, и отъ мрачной красоты котораго самому ему „было страшно и душа тоскою сжималась“; Кольцова—та раздражительная и начинавшая во всемъ сомнѣваться стихія, которую тщетно заклиналъ онъ своими „думами“. А сколько могучихъ, но не гармоническихъ личностей закруживали стихійныя начала: Милонова, Кострова—въ прошломъ вѣкѣ, Полежаева, Мочалова—на нашей памяти.

Да не скажутъ, чтобы я здѣсь игралъ словами. Стихійное вовсе не то, что *личность*. Личность Пушкинская—не Алеко и вмѣстѣ съ тѣмъ не Иванъ Петровичъ Бѣлкинъ, отъ лица котораго онъ любилъ рассказывать свои повѣсти: личность Пушкинская—самъ Пушкинъ, заклинатель и властелинъ многообразныхъ стихій, какъ личность Лермонтовская не Арбенинъ и Печоринъ, а самъ онъ,

Еще певѣдомый избранникъ

и можетъ быть, по словамъ Гоголя, „будущій великій живописецъ русскаго быта“. Прасоль Кольцовъ, умѣвшій ловко вести свои торговыя дѣла, спасъ бы намъ надолго жизнь великаго лирика Кольцова, еслибы не пожрала его, вырвавшись за нредѣлы, та раздражительная сила, которую не всегда заклиналъ онъ своею возвышенной и трогательной молитвою:

О, гори лампада
Ярче передъ распятіемъ!
Тяжелы мнѣ думы,
Сладостна молитва!..

Въ Пушкинѣ по преимуществу, какъ въ первомъ цѣльномъ очеркѣ русской натуры, — очеркѣ, въ которомъ обозначились и объемъ и границы ея сочувствій, — отразилась эта борьба, высказался этотъ моментъ нашей духовной жизни, хотя великій мужъ былъ и не рабомъ, а властелиномъ и заклинателемъ этого страшнаго момента.

Поучительна въ высокой степени исторія душевной борьбы Пушкина съ различными идеалами, — борьбы, изъ которой онъ выходитъ всегда самимъ собою, особеннымъ тиномъ, совершенно новымъ. Ибо что, на примѣръ, общаго между Онѣгинимъ и Чайльдъ-Гарольдомъ Байрона? Что общаго между Пушкинскимъ и Байроновскимъ или Мольеровскимъ французскимъ или наконецъ испанскимъ Донъ-Жуаномъ?.. Это тины совершенно различныя, ибо Пушкинъ, по словамъ Бѣлинскаго, былъ *представителемъ міра русскаго, человѣчества русскаго*. Мрачный сплинъ и извительный скептицизмъ Чайльдъ-Гарольда замѣнился въ лицѣ Онѣгина хандрою отъ праздности, тоскою человѣка, который внутри себя гораздо проще, лучше и добрѣе своихъ идеаловъ, который надѣленъ критическою способностью здороваго русскаго смысла, т.-е. прирожденною, а не пріобрѣтенною критическою способностью, который — критикъ потому, что даровитъ, а не потому, что озлобленъ, хотя самъ и хочетъ искать причинъ своего критическаго настроенія въ озлобленіи, и которому та же критическая способность можетъ, того и гляди, указать средство выйти изъ ложнаго и напряженнаго положенія на ровную дорогу.

Съ другой стороны, Донъ-Жуанъ южныхъ легендъ — это сладострастное кипѣніе крови, соединенное съ демонски-скептическимъ началомъ, на которое намекаетъ великое созданіе Мольера и который до опьянѣнія восторгается нѣмецъ Гофманъ. Эти свойства

обращаются въ созданіи Пушкина въ какую-то безпечную, юную, безграничную жажду наслажденія, въ сознательное даровитое чувство красоты, въ способность „по узенькой пяткѣ“ дорисовать весь образъ женщины, способность находить „странную пріятность“ въ потухшемъ взорѣ и помертвѣлыхъ глазахъ черноокой Инесы: титъ создается однимъ словомъ изъ южной, даже африканской страстности, но смягченной русскимъ тонко-критическимъ чувствомъ,—изъ чисто русской удалы, безпечности, какой-то дерзкой шутки прожигаемой жизнью, какой-то безусталой гоньбы за впечатлѣніями, такъ что чуть впечатлѣніе принято душою—душа уже далеко, и только „на снѣговой порошокъ“ остался слѣдъ „не зайки, не горностайки“, а Чурилы Пленковича, этого Донъ-Жуана миѳическихъ! времянь, порожденія нашей народной фантазіи.

Эта поучительная для насъ борьба — и въ гениально-юношескомъ лепетѣ Кавказскаго плѣнника, и въ Алеко, и Гирѣѣ (недаромъ же печальной памяти „Маякъ“ объявлялъ героевъ Пушкина уголовными преступниками!), и въ Онѣгинѣ, и въ ироническомъ, лихорадочномъ и вмѣстѣ сухомъ тонѣ „Пиковой дамы“, и въ отношеніяхъ Ивана Петровича Бѣлкина къ мрачному Сильвіо въ повѣсти „Выстрѣлъ“. На каждой изъ этихъ ступеней борьба стоитъ подробнѣйшаго изученія... Но что вездѣ особенно поразительно, такъ это постоянная непослѣдовательность живой и самобытной души, ея упорная непокорность усвоемому ей типу, при постоянной послѣдовательности умственной, послѣдовательности иопиманія и усвоенія типа. Ясно видно, что въ титѣ есть для этой души что-то неотразимо-влекущее и есть вмѣстѣ съ тѣмъ что-то такое, чему она постоянно измѣняетъ, что, стало быть, рѣшительно не по ней.

Кружась въ годоворотѣ этого омута, наше сознаніе видѣло такіе сны, и образы этихъ сновъ такъ ясно въ немъ отпечатлѣлись, что въ призрачной борьбѣ съ ними, или, лучше сказать, мѣрятся съ ними, оно ощутило въ себѣ силы необъятныя, силы на созданіе самобытныхъ идеаловъ. Какимъ же образомъ, извѣдавши „добрая и злая“, можетъ оно остаться при однихъ чисто-отрицательныхъ типахъ?

Вопросъ объ отношеніи нашихъ писателей къ двумъ типамъ — вопросъ очень важный. Толстой представляетъ крайнюю грань односторонняго отношенія, грань замѣчательную не только по своей

односторонности, но и потому еще, что любовь къ отрицательному, смиренному типу родилась у нашего автора не непосредственно, какъ у писателей народной эпохи литература, а вѣдствие глубокаго анализа.

Душевный процессъ, который раскрывается намъ въ „Дѣтствѣ и Отрочествѣ“ и первой половинѣ „Юности“, — процессъ необыкновенно оригинальный. Герой этихъ замѣчательныхъ психологическихъ этюдовъ родился и воспитался въ средѣ общества, столь искусственно сложившейся, столь исключительной, что она въ сущности не имѣетъ реального бытія, въ сферѣ такъ называемой аристократической, въ сферѣ „высшаго свѣта“. Неудивительно, что эта сфера образовала Печорина—самый крупный свой фактъ—и нѣсколько болѣе мелкихъ явленій, каковы герои разныхъ великосвѣтскихъ повѣстей. Удивительно, а вмѣстѣ съ тѣмъ и знаменательно то, что изъ нея, этой узкой сферы, выходитъ, т.-е. отрѣшается отъ нея посредствомъ анализа герой рассказовъ Толстого. Вѣдь не вышелъ же изъ нея, несмотря на весь свой умъ, Печоринъ; не вышли же изъ нея герои графа Соллогуба и г-жи Евгеніи Туръ!.. А, съ другой стороны, становится понятнымъ, когда читаешь этюды Толстого, какимъ образомъ, несмотря на ту же исключительную сферу, натура Пушкина сохранила въ себѣ живую струю народной, широкой и общей жизни, способность и понимать эту живую жизнь, и глубоко ей сочувствовать, и временами даже съ нею отождествляться.

Но натура Пушкина была натура по преимуществу синтетическая, одаренная непосредственностью пониманія и цѣлостностью захвата. Ни въ какую крайность, ни въ какую односторонность не впадалъ онъ. Равно удивителенъ онъ и въ тонѣ Бѣлкина, и въ тонѣ своихъ поэмъ, и въ сухомъ свѣтскомъ тонѣ „Пиковой дамы“.

Натура же героя „Дѣтства, отрочества и юности“ по преимуществу аналитическая. Анализъ развивается въ немъ рано и подкапывается глубоко подъ основы всего того условнаго, чѣмъ онъ окруженъ, того условнаго, что въ немъ самомъ. Доходя до явленій ему не поддающихся, онъ передъ ними останавливается. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи въ высокой степени замѣчательны главы о нянѣ, о любви Маши къ Василию и въ особенности глава о юродивомъ, въ которой сталкивается онъ съ явленіемъ, которое и въ самой народной простой жизни составляетъ нѣчто рѣдкое, исключительное, эксцентрическое. Всѣ эти явленія анализъ

противопоставляетъ всему условному, его окружающему, въ которомъ цѣлѣетъ нетронутымъ одинъ только святой образъ, — образъ матери, нѣжно, любовно и граціозно нарисованный образъ. Ко всему другому анализъ безопаденъ. И понятно: передъ нимъ уже стоятъ несокрушимою стѣною, о которую онъ разбился, иныя, противоположныя, совершенно безыскусственныя явленія иной, не условной, а непосредственной жизни.

Онъ пораженъ простотою, неразложимостью этихъ явленій. И вотъ простоты, неразложимости добивается онъ отъ самого себя, роется терпѣливо и безопадно-строго въ каждомъ собственномъ чувствѣ, даже въ самомъ томъ, которое по виду кажется совершенно святымъ (глава „Исповѣдь“), уличаетъ каждое свое чувство во всемъ, чтб въ чувствѣ сдѣлано, даже напередъ, — ведетъ каждую мысль, каждую дѣтскую или отроческую мечту до ея крайнихъ граней. Вспомните, напримѣръ, мечты героя „Отрочества“, когда его заперли въ темную комнату за непослушаніе гувернеру.

Анализъ въ своей безопадности заставляетъ душу признаваться самой себѣ въ томъ, въ чемъ не всякая душа себѣ признается, въ томъ, въ чемъ стыдно себѣ самому признаться. Мудрено ли, что при огромномъ талантѣ анализъ изощрился до того, что въ „Метели“ способенъ влѣзть въ существо воробья, который „притворился, что клонулъ“, въ „Военныхъ разсказахъ“ развертываетъ цѣлую ткань пустыхъ представленій, промелькнувшихъ передъ человѣкомъ въ минуту смерти, до поражающей, несомнѣнной правды.

Та же безопадность анализа руководитъ героя и въ „Юности“. Поддаваясь своей условной сферѣ, принимая даже ея предразсудки, онъ постоянно казнить самого себя и изъ этой казни выходитъ побѣдителемъ. Многіе находили растянутою первую половину „Юности“. Это неправда. Волковы, Нехлюдовы, князь должны были быть изображены съ такою мелочною подробностью, чтобы поразительнѣе вышло столкновеніе героя съ слоями иной жизни, съ даровитыми, хотя безумно кутящими личностями, полными силъ и высокихъ, не-условныхъ стремленій.

Столкновеніемъ, съ этимъ живымъ міромъ кончается, новидимому, процессъ. Но только новидимому. Слѣдить его можно и даже должно въ „Военныхъ разсказахъ“ — въ разсказѣ „Встрѣча въ отрядѣ“, въ „Двухъ гусарахъ“. Анализъ продолжаетъ свое дѣло.

Останавливаясь передъ всѣмъ, что ему не поддается, и переходя тутъ то въ паосъ передъ всѣмъ, громадно-грандіознымъ, какъ севастопольская эпопея, то въ изумленіе передъ всѣмъ простымъ и смиренно-великимъ, какъ смерть Веленчука или капитанъ Храбровъ, онъ безпощадеиъ ко всему искусственному и сдѣланному, является ли оно въ буржуазномъ штабс-капитанѣ Михайловѣ, въ кавказскомъ ли героѣ à la Марлинскій, въ совершенно ли ломаной личности юнкера въ разсказѣ „Встрѣча въ отрядѣ“. Одинъ только типъ остается нетронутымъ, не подвергнутымъ сомнѣнію—типъ простого и смирнаго человѣка.

Между тѣмъ въ „Двухъ гусарахъ“ авторъ, видимо, увлекается старымъ гусаромъ съ его энергическимъ буйствомъ и размашистой удалю, въ противоположность гусару новыхъ временъ съ его мелочностью и пошлостью; между тѣмъ въ „Альбертѣ“ онъ явнымъ образомъ поэтизируетъ силу и страстность, хотя пропадая въ неизлѣчимомъ безпутствѣ.

Толстой—поэтъ, поэтъ точно такъ же, какъ Тургеневъ. Отрицаніе всѣхъ „приподнятыхъ“ чувствъ души не ведетъ его ни къ мѣщанскому прозаизму Писемскаго, ни къ бюрократической практичности Гончарова. Всего же менѣе ведетъ его анализъ къ утилитаризму. На утилитаризмъ отвѣчаетъ онъ своимъ „Люцерномъ“, въ которомъ плачетъ о погибающемъ мірѣ искусства, страстей, исторіи,—„Люцерномъ“, который неожиданно поразилъ всѣхъ въ эпоху своего появленія, хотя поражаться тутъ было нечѣмъ. Чего же хотѣли отъ Толстого?..

Прежде всего и иначе всего—онъ поэтъ. „Приподнятыя“ чувства души человѣческой онъ казнилъ только тамъ, гдѣ они напряженно, насильственно приподняты, тамъ однимъ словомъ, гдѣ лягушка раздувается въ вола,—иногда только впадая въ крайности, какъ въ иредпочтеніи глубокаго горя старухи-няни горю старухи-графини, какъ въ изображеніи кавказскаго героя, который дѣйствительно герой, и герой нисколько не меньше *смирнаго* капитана Храброва, только герой своей эпохи, эпохи Марлинскаго.

Въ сущности поэтъ нашъ только скорбитъ о томъ, что не находитъ настоящихъ „приподнятыхъ“ чувствъ въ той сферѣ, которую онъ знаетъ, но не можетъ отречься отъ ихъ искапія... Въ сферѣ же иной, въ простой народной сферѣ, ему доступны и понятны вполне только смирные типы... Да иначе и быть нельзя. Только непосредственно сжившись съ народною жизнью,

нося ее въ душѣ, какъ Островскій, Кольцовъ и отчасти Некрасовъ, или спустившись въ подземную глубину „Мертваго дома“, какъ Ф. Достоевскій, можно узаконить равно два типа—и типъ страстный, и типъ смиренный. Пушкинъ понималъ это синтезомъ—и синтезомъ создалъ „Русалку“, и Пугачева въ „Капитанской дочкѣ“, и старика Дубровскаго. Тургеневъ глубокимъ сочувствіемъ къ народу доходилъ иногда до того, что страстный типъ иногда являлся ему въ совершенно своеобразныхъ формахъ даже посреди такъ называемаго цивилизованнаго общества (Веретьевъ, Коротяевъ, Чертопхановъ), большею же частью облакалъ его въ условныя формы и формы историческія (Василій Лучиновъ). Толстого эти формы не удовлетворяли, и онъ постоянно подкапывался подъ нихъ, какъ подъ всякія формы.

Доходя въ инныя минуты до отчаянія отъ анализа и оставивши слѣдъ этого отчаянія въ образѣ князя Нехлюдова („Записки маркера“ и „Люцернъ“), утомленный работою анализа, Толстой, по натурѣ художникъ, рѣшился хоть разъ успокоиться въ разрѣшеніи психической задачи менѣе широкой—и далъ намъ „Семейное счастье“. О достоинствахъ этого тихаго, глубокаго, простаго и высоко поэтическаго произведенія, съ его отсутствіемъ всякой эффектности, съ его прямымъ и не ломанымъ поставленіемъ вопроса о перехода чувства страсти въ иное чувство, пришлось бы писать еще цѣлую статью, если бы статьи чисто-эстетическія были возможны, т.-е. читаемы въ настоящую напряженную минуту.

Задача моя была—по возможности опредѣлить смыслъ явленія столь замѣчательнаго, какъ Толстой.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА

подъ редакціей В. Θ. Саводника.

Вышли въ свѣтъ слѣдующіе выпуски:

- Выпускъ 1-й. Автобіографія Апол. Григорьева: „Мои литературныя и нравственныя скитальчества“ (съ біографическимъ очеркомъ В. Саводника). Ц. 60 к.
- Выпускъ 2-й. Основанія органической критики (четыре статьи). Ц. 60 к.
- Выпускъ 3-й. Развитие идеи народности въ нашей литературѣ со смерти Пушкина. Ц. 50 к.
- Выпускъ 4-й. Реализмъ и идеализмъ въ русской литературѣ. Ц. 15 к.
- Выпускъ 5-й. „Горе отъ ума“ Грибоѣдова. Ц. 15 к.
- Выпускъ 6-й. Взглядъ на русскую литературу со смерти Пушкина. Ц. 30 к.
- Выпускъ 7-й. Лермонтовъ и его направленіе. Ц. 35 к.
- Выпускъ 8-й. Гоголь и его „Переписка съ друзьями“. Ц. 20 к.
- Выпускъ 9-й. Русская литература въ срединѣ XIX вѣка. Ц. 45 к.
- Выпускъ 10-й. И. С. Тургеневъ и его литературная дѣятельность. Ц. 50 к.
- Выпускъ 11-й. О національномъ значеніи творчества А. Н. Островскаго. Ц. 30 к.
- Выпускъ 12-й. Раннія произведенія гр. Л. Н. Толстого. Ц. 35 к.
- Выпускъ 13-й. Поэзія Некрасова. Ц. 25 к.
- Выпускъ 14-й. Русскія народныя пѣсни съ ихъ поэтической и музыкальной стороны. Ц. 30 к.
-